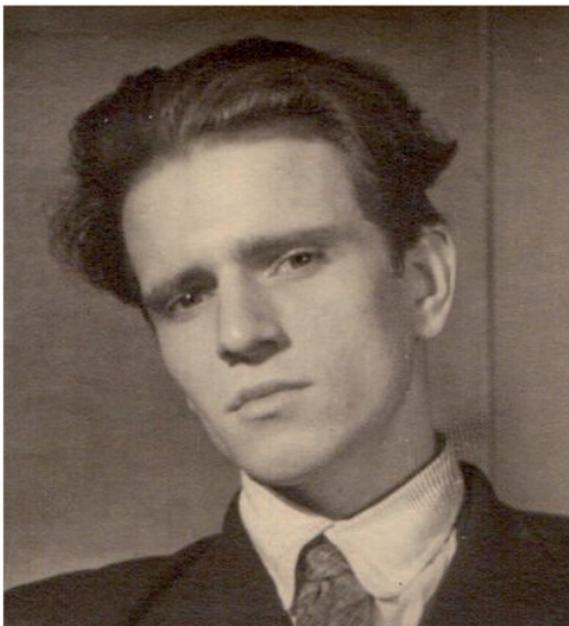


Георгий ГЕРАСИМОВ

**ИЗ СГОРЕВШЕГО ПОРТФЕЛЯ  
(Воспоминания)**



УМКА-Пресс  
Москва  
2018

# Георгий Павлович Герасимов Анна Георгиевна Герасимова Из сгоревшего портфеля

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=55599054](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=55599054)*

*Из сгоревшего портфеля (Воспоминания) / Герасимов, Георгий Павлович  
ред.-сост. А. Г. Герасимова: Пробел-2000; Москва; 2018  
ISBN 978-5-98604-654-9*

## **Аннотация**

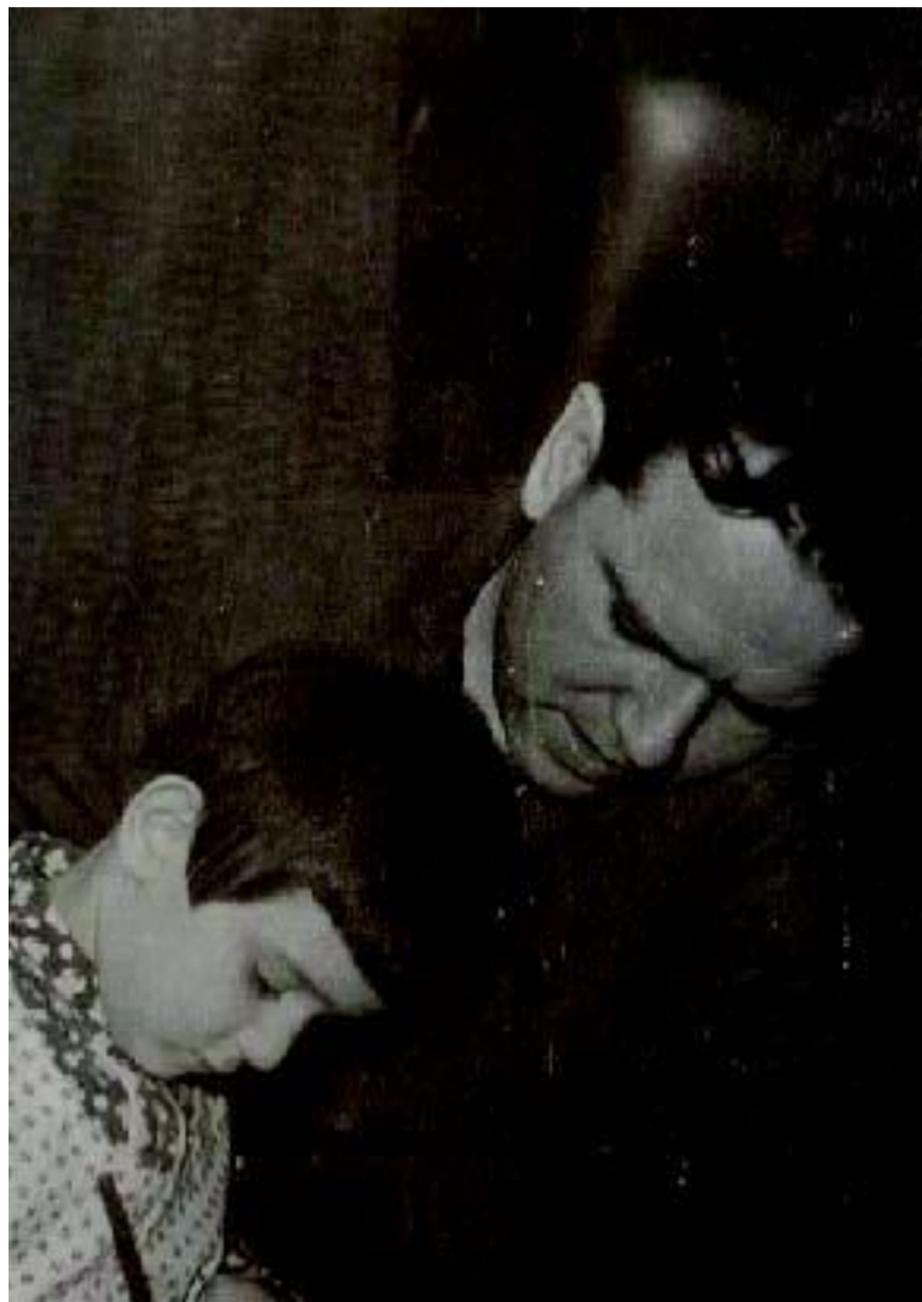
«Когда сегодня переписываю давние свои заметки, несмотря на гласность и перестройку, не очень верю, что кто-то прочтет их не в машинописных страницах, а книгой. Потому оставляю все как есть, как было. Стремлюсь оставаться до конца, до предела искренним, честным, ничего не соврать, нигде не покривить душой, не приукрасить себя. Не смешивать сегодняшних и тогдашних своих мыслей и ощущений, не рисовать себя более мудрым и прозорливым, чем был на самом деле. Взял на себя этот тяжкий и, может быть, никому не нужный крест и волочу его. Кому интересна твоя обычная, без особых подвигов и свершений жизнь, память о былом, мысли о сегодняшнем? Одно утешает: таких, как я – миллионы. Мы такими были, мы так прожили. Пусть никто, кроме близких, не будет листать этих страниц, да и те, может, по лености душевной не захотят копаться в груде пожелтевших листов... И все же, все же!..»

# Содержание

Предисловие	7
Вступление	14
Легенды детства и моя родословная	30
Начало биографии	63
Ладно, читай!	79
Мое поколение	100
Конец ознакомительного фрагмента.	125

**Георгий Герасимов**  
**Из сгоревшего портфеля**  
**(Воспоминания)**

*Так мы жили. Такое было время...*  
*(Из разговоров)*

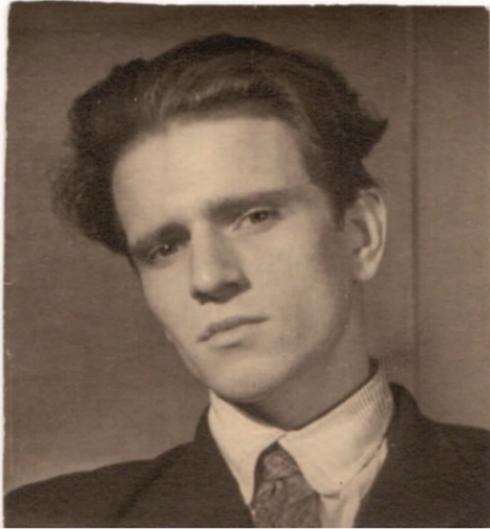


© «Пробел-2000», 2018

© Герасимов Г. П., 2018

© Герасимова А. Г., 2018

# Предисловие



Мой отец Георгий Павлович Герасимов (14 февраля 1928 – 20 июня 2003) ничем выдающимся не прославился, несмотря на то, что обладал художественными талантами и человеческими достоинствами. Но несомненная заслуга его и большая удача – то, что в своем небольшом автобиографическом сочинении он сумел точно и честно зафиксировать живой кусок эпохи. На войну он не успел по возрасту, к ответственности не привлекался, ни за отчизну, ни за убеждения не пострадал. Постоянно твердит: «повезло», «я счастливый человек»... Ясное дело, повезло. Это можно сказать

вообще о каждом, кто во всей этой многоступенчатой мясорубке остался жив, да еще и потомством обзавелся – если, конечно, принять жизнь человеческую за непреложную ценность; но тут наши бодрые борцы-безбожники вряд ли уступают своим верующим оппонентам. Не только сам уцелел, но и родители остались живы (точнее, умерли своей смертью – какое, если вдуматься, ужасное выражение, как смерть может быть «своей»?), причем никто не отсиживался, не прятался, наоборот – активничали и не скрывались. Воистину: «были ли репрессированы, и если нет, то почему?» Получается, едва ли не каждый из ныне живущих может рассказать невероятную историю о том, как выжили его родители или деды-прадеды. Вот и папе нашему повезло, хотя, по сути, он неудачник, как и все его поколение. Революция своих детей хотя бы пожирала, а этих преданных, искренних, горячих людей советская власть даже не съела – пожевала, помусолила и выплюнула догнивать на обочине. Он даже воспоминаний своих не окончил, и обрываются они (по крайней мере то, что сохранилось) на весьма показательном месте: в тот момент, как его забрали в армию. Дома папины писания считались скорее блажью, чем необходимостью, мы уговаривали его продолжать, но было ясно: сомневаясь (в том числе неоднократно на этих страницах) в их необходимости, он недалек от истины. Он даже ездил в дом творчества, как настоящий писатель, сидел там неделями за машинкой, я как-то навещала его там. Потом, синхронно с крахом перестрой-

ки (в 1998 году), бабахнул инсульт, и лежание на кровати перед телевизором превратилось из свободного выбора в единственную возможность.

Конечно, мои художества тоже не могли способствовать спокойствию и душевному здоровью. Не знаю, как сохранять спокойствие, когда любимая дочка, в которую столько вложено, круглая отличница, почти вундеркинд, вдруг бросается в объятия непонятных существ и веществ, наплевав на все человеческие ценности. Папа был достаточно широк, чтобы приветствовать перестройку в надежде, что его страна и народ наконец выберутся на верную, вымечтанную отцами и дедами дорогу, но отказывался понимать, при чем тут грязные клеша и сомнительные знакомства. Было дело, мы с ним полгода не разговаривали, – и думаю, он меня тоже до конца не простил, в основном за то, что я вынудила его на крайние меры. С горечью вспоминаю, что тогда (в 1986 году) я даже была как-то рада такому повороту событий: вот и у меня конфликт с родителями, всё как у людей.

Думаю даже, папу было бы легко склонить к лояльности по отношению к моим сомнительным друзьям и увлечениям, но он, как бывает во многих семьях, ринулся поддержать мамину строгость, переборщил и сам пострадал больше всех. На самом деле папа был совершенно прав, и я никак не могу перестать об этом думать, чем дальше, тем настойчивее. Стоило ли «нищее наше кочевье», как я называю его в тогдашнем стишке, таких жертв? Уж не знаю, понимал ли он,

что моя фронда – во многом его наука. Тоже ведь какая-никакая революция, хоть и в других одеждах. А революция была привита прежде всего папиными рассказами, въелась, так сказать, с молоком отца. Не забуду, как он стучал на меня кулаком, огромным, не писательским своим кулачищем по хлипкому кухонному столику, когда я (лет в 12? 13?) заикнулась, что Солженицын предатель и «литературный власовец», как его клеймили в «Литгазете». «Павлик Морозов!» – бушевал папа, и даже мама не могла его унять, а я с того момента начала что-то своей девственной башкой соображать. Сталина, правда, они ругали хором – мама и папа. Оба в детстве и юности честно обманывались, у обоих было опубликовано по стишку «о великом и родном» в правоверной пионерской прессе, оба безоговорочно приняли 20-й съезд, ворчали в застойные годы, с восторгом приняли перестройку. На большее их не хватило, несмотря на то, что среди друзей водились и диссиденты, и подписанты, и будущие эмигранты.

Еще пару слов о папином актерстве. С ним вроде бы было покончено, но оно постоянно давало о себе знать, проникая в повседневную жизнь. Например, рассердившись на нас, папа мог крикнуть: «Вы меня до второго инфаркта доведете!» Ситуация была нешуточная, но становилось смешно – никакого первого инфаркта у папы никогда не было, а в тот момент он свято верил, что был. Видимо, именно это умение вживаться в роль провоцировало в принципе мило-

сердную, но не терпевшую пафоса маму на то, что выводило папу из себя и заставляло меня вслед за ним кричать ей: «Не иронизируй!». Тут уже всем становилось смешно и неловко, ведь значение этого слова было мне, шестилетней, неведомо. Однажды папа пошел гулять с собакой и пропал на полдня, а когда вернулся, смущенно объяснил, что познакомился на улице с другим собачником и на вопрос того, чем он занимается, наврал, что «физик-теоретик». Следующие три часа он рассказывал новому знакомому о загадках и достижениях теоретической физики; дело было в середине 70-х, тема модная, современная, а папа очень много читал и все знал. В другой раз в классе пошло поветрие: грызть ногти. А у папы был отличный микроскоп. Он развел «культуру» каких-то особенно отвратительных бактерий, принес к нам в класс свой микроскоп, взял у всех детей пробу из-под ногтей, с понтом положил на стеклышко и показал всем желающим копошащихся мерзких тварей.

Иногда, особенно в раннем детстве, он разыгрывал для меня целые моноспектакли, очевидно, сам получая не меньшее удовольствие, – об этом я пишу и в примечаниях. А однажды напугал до полусмерти: уже вечером, перед сном, скорчил такую страшную рожу, что я с воплем бросилась спасаться – конечно, к нему самому, к кому же еще? Я эту рожу помню до сих пор – перекошенную, дрожащую, как желе, – и до сих пор боюсь. Он был несколько смущен произведенным эффектом.

Хорошо помню, как смотрела и пересматривала фотографии, где папа «в ролях». Меня завораживал сам факт того, что один человек, да еще хорошо знакомый, может так поразному выглядеть: «и это ты? – (о «Перелеснике»), – НЕ ТЕТЯ? не может быть!» И, конечно, любовь к сцене, полное отсутствие страха перед ней, потребность «выступить», что-то для всех изображать, исполнять стихи и песни, – папина наука. Хватить вместо микрофона рожок для обуви, и вперед: я и Зыкина, и Магомаев, и Аркадий Райкин... Но тут, пожалуй, пора прерваться: остальное вы сами знаете.

Хочется выразить отдельную благодарность моим близким, без которых не было бы этой книги. Сквозь все пертурбации, через которые прошла наша бывшая квартира на Малой Грузинской и ее многочисленное содержимое, мой сын, внук автора Алексей Радов сохранил единственный экземпляр оригинала – черновую машинопись. Я ее отсканировала и одну из копий отвезла в Днепропетровск Виктору Борисовичу Герасимову, сыну папиной сестры Музы Павловны.

У меня всё руки не доходили, а он (вовсе не профессионал) взялся, «распознал» этот местами трудночитаемый текст вместе со всей рукописной правкой (а почерк у папы плохой, непонятный – у меня, правда, еще хуже) и прислал мне, тогда я уже волей-неволей осуществила финальную корректуру и составила примечания. Титульный лист, правда, утерян, и я рискнула выбрать название на свой вкус из упомянутых в тексте вариантов.

Авторский текст представлен практически неизменным, исправлены лишь очевидные ошибки и опечатки, в угловых скобках – немногие конъектуры на месте случайно ошибочных, плохо читающихся или пропущенных при перепечатке слов.

*А. Герасимова*

# Вступление

Давайте условимся сразу: специального предисловия не будет. Что, зачем и почему я пишу, станет ясно и без него. Однако кое о чем договориться с читателем следует. Посему – все-таки вступление или предуведомление.

Задумывалось и начиналось все это, пожалуй, уже лет тридцать назад человеком, по моим теперешним понятиям, еще молодым. Активно записывалось в конце пятидесятых – начале шестидесятых, когда возникла вера, что писания эти могут увидеть свет. Потом оказалось, что дело табак, что они – маргышкин труд. Мало сего, при том образе мыслей, который я никогда не умел скрывать, запечатленный на бумаге он мог составить еще больший криминал, нежели мнения, выболтанные с определенной степенью сдержанности публично или с меньшей – в частных разговорах. Как-никак, а эпоха сталинщины закончилась, и доносы, не подкрепленные собственноручными, полученными не под нажимом признаниями, уже не имели того веса. Короче – не следовало составлять компромат на самого себя. И все же возникшая уже привычка фиксировать нечто неизвестно для чего, в расчете, вероятно, на «будущие поколения», – образовалась. И нет-нет, <да и> продолжал я заполнять страницы амбарных книг, этаких здоровенных в картонных переплетах тетрадей, своими откровениями. И валялись они в ящике письменного

стола на даче, строенной еще родителями в середине тридцатых. В подмосковном Крюкове на даче, которая уцелела в сорок первом и стала моим Болдино, Спасским-Лутовининым, Мелеховым. Сие подтверждает и такое четверостишие тех лет:

*Бывает болдинская осень,  
Бывает в Крюково весна...  
Пусть я у Музы недоносок,  
Но все же мать мне она.*

В семьдесят шестом дачка из списанных трамвайных шпал, окруженная спутником Москвы – городом Зеленоградом, – сгорела. Вместе с ней и мой архив. Это был уже второй пропавший архив. О том, куда делся первый, расскажу в своем месте.

В последнее десятилетие, окончанием которого стал апрель восемьдесят пятого, я многократно возвращался к мысли-мечте об этой своей так и не написанной книге. И даже вновь делал заметки. Но все это было спорадически и несерьезно. Основательно сесть за работу подвигли меня три обстоятельства. Первое из них – требование одного моего друга, литературного критика, в течение нескольких вечеров терпеливо выслушивавшего мои рассказы и даже предложившего название будущей книги: «Из сгоревшего портфеля», чтобы я немедленно записал все то, что поведал ему. Второе – наличие свободного времени. До своего шестиде-

сятилетия, до пенсии я никогда не имел его, ибо почти всю жизнь вкалывал на двух работах: в театре и в газете, в редакции и дома. Днем официально, а утро, вечер, выходные, отпуска – над переводами с литовского. Так было тридцать последних лет. Дочка даже спрашивала: «А что такое отпуск? Это когда все пишут и пишут?» Так прожили и я, и моя жена свою жизнь. В четыре руки, в среднем по двенадцать часов в день. Из года в год. Теперь одна из составляющих отпала, а привычка-то сохранилась! Вот и осмеливаюсь сидеть за столом для души.

Третье: желание доверительно поговорить с тем, кто решится прочесть мой труд, который не собираюсь называть ни автобиографическим романом, ни мемуарами, ни модным ныне словечком – эссе, ни просто книгой. Пожалуй, ближе всего – исповедью, ибо она не только признание во грехах, но и заявление о своей вере, поток воспоминаний и сегодняшних впечатлений, где смешивается и давнее, и сиюминутное, мелочи быта, мечты, надежды, боли и радости, мнения человека, прожившего свои шестьдесят в нелегком нашем веке, записанные им самим в конце восьмидесятых годов, о вопросах глобальных и о «гвозде у меня в сапоге». Не претендую, что высказываю истину в последней инстанции, но готов отстаивать все, о чем говорю. По взевшейся годами привычке, рассматривая какой-нибудь предмет, какое-либо явление, частенько полемизируя сам с собой, пытаюсь выдавить из себя «внутреннего редактора», который всю

сознательную литературную жизнь зажимал мне рот, стоило лишь подумать о написании такой исповеди. И, клянусь тебе, возможный читатель, что буду абсолютно правдивым, пусть это не всегда представит тебе мою особу с лучшей стороны. Говорят: скромность украшает. Не будем приукрашиваться. Все как есть! Достало бы сил не выставлять себя лучшим, чем был на самом деле.

И еще одно условие: не собираюсь цитировать никаких документов, опираюсь лишь на собственную память, на свою совесть. Поэтому заранее приношу свои извинения читателю, если обнаружит он ошибки в именах, датах, даже фактах – я запомнил это именно так, так мной было услышано, увидено, прочтено и осмыслено на протяжении почти полувека сознательной жизни. Все, о чем пишу, было и есть с нами, со мной. Во многих случаях употребляю измененные имена просто по той причине, что не помню подлинных или не желаю обидеть кого-то из тех, кто кажется мне достойным жалости. Скверная у меня память на имена. В общем, здесь выжимка из всего пережитого мной, и не только мной, ибо включаю я свидетельства, мнения и соображения других людей, с которыми согласен, – что не всегда оговариваю и как бы присваиваю их.

Верю, что кому-то сгодятся показания и мысли человека, бывшего современником и свидетелем, а иногда и участником всяческих событий, подвигов и преступлений, человека, принимавшего жизнь своих близких, своего народа, го-

сударства и мира близко к сердцу, считающего себя, пусть слишком самонадеянно и без особых оснований, наследником и последователем уникальнейшего явления в жизни человеческого духа – российской интеллигенции. Да поможет чему-то моя исповедь. Нет. Не чему-то, а избавлению моего народа (вишь, на что замахиваюсь!) от страха, лжи, заблуждений, неверия, скепсиса, от отвычки договаривать все до конца, безбоязненно выкладывать свою позицию. Ныне, когда пишу я это вступление, идет лето восемьдесят восьмого года, третьего года перестройки и гласности, эпоха ликования многих прежних молчунов и лгунов, дескать – разрешили! Вот какие мы смелые. Но произнесши «а», не торопимся сказать «б», «б» может выйти боком. Тешу себя надеждой, что на протяжении жизни не очень лукавил, часто во вред себе говорил, что думаю. Правда, давно перевожу рассказы литовского сатирика Витауте Жилинскайте, поднатюрел в эзоповом языке, научился не только читать, но и писать между строк. Некоторые сегодняшние публицисты стремятся ныне выдавать свои соображения прямым текстом, честь им и хвала. Кое-кто из них и в застойные годы многое себе позволял. Преклоняюсь. Но вот точки над і и ныне еще не все ставят. Кричат о плюрализме мнений, к примеру, и тут же молятся на монолит решений партии. Правящей и единственной. Нонсенс! Реникса! У тебя с кем-то различные взгляды на довольно существенные вещи. Большинство приняло его точку зрения – такое уже неоднократно быва-

ло в нашей истории – и вот ты, из-за иезуитски требуемой от тебя солидарности и партийной дисциплины, вынужден смиряться с неприемлемым для тебя порядком вещей, вынужден наступать на горло собственной песне и идти против своей совести, в надежде, мол, «история рассудит». История, как мы видим, рассуживает и осуждает и сталинщину, и волюнтаризм, и застой – а это семь десятков лет нашей негибкой генеральной линии. Хватит! Пора покончить со всеми этими играми! Надо думать и договаривать все до конца. Авторитаризм стал ругательным словом, но единственная в стране правящая партия, глядящая в рот своей верхушке и подкармливаемая из ее рук, единственная в стране политическая сила, сметающая и порой жестоко отбрасывающая со своего неверного, как позже выясняется, пути всех инакомыслящих, обязательно приводит к диктатуре личности, демагогически объявляющей себя гарантом диктатуры передового класса – т. е. к авторитаризму. Разве я не прав? Разве не лежит эта тривиальная истина на поверхности всех наблюдаемых нами событий и явлений, происходивших и происходящих в нашей стране, да и не только в ней? Доколе будем награждать высшими орденами СССР всяких Ким Ир Сенов, Чаушесок, душащих свои народы «коммунистов» сталинского разлива, застывших на его кровавых принципах в позиции прутковского рыцаря, что «всё в той же позиции на камне сидит»? Доколе будем молчать о том, что известно всему миру, о всех тех беззакониях и мерзостях, преступле-

ниях и жестокостях, которые вопиют к справедливости, чести и правде в наших перестроечных лозунгах? И ради чего? Ради сохранения того пресловутого «единства» международного коммунистического движения, что давно уже не существует? Ради вышвырнутых на свалку истории ложных теорий, ложных догм и принципов, не оправдавших себя, зачастую поддерживаемых людьми, лишь называющими себя коммунистами, переродившимися, изолгавшимися, превратившимися в китайских мандаринов, сановников и вельмож типа Жданова, Суслова, Романова и им подобных? Несть им числа, смрад от них по всему земному шару. Доколе?! Все эти «вожди», большие и маленькие, присосались к своим тепленьким местечкам, готовы на все, лишь бы удержаться на них. Готовы к провокациям, подлогам, доносам, убийствам, да, да – и к убийствам! Лишь бы продлить свое правление. Готовы сжить со свету каждого, кто осмелится не только противостоять им, не только возразить, но даже слегка покритиковать. Правда ненавистна им. Они идут на союз с любой нечистью, с любой самой темной силой, с мафией, антисемитами, националистами, демагогически натравливая на интеллигенцию серых и бесталанных «писателей», некомпетентных директоров, бездарных и завистливых неудачников всех мастей и рангов. Любая «революция сверху», пусть и преисполненная самых благих намерений, когда верхи поняли, что так жить дальше нельзя, что впереди пропасть, что, повремени, и начнется подлинная и кровавая «револю-

ция снизу», – ничего изменить не может. Власть вынуждена оставлять привилегии тому клану, что все годы поддерживал ее, из недр которого она вышла. Таким образом коррумпированная привилегированная прослойка продолжает существовать и осуществлять власть не только на местах, но и в центре. Замена некоторых, вконец разложившихся бонз типа Романова или Гришина ничего не дает. Система сохраняется. И ничего из подобной перестройки-революции не выйдет. Ежу понятно. Простите меня, но о добровольной передаче, самоликвидации любой власти (исключая выкрутасы, которые может разрешить себе гнилая буржуазная демократия, чему мы не раз были свидетелями) во всей истории человечества мы что-то не слыхивали. Поэтому возможность смены системы дает обществу лишь законная альтернативная сила, партия, находящаяся в оппозиции к правящей. В социалистическом государстве она, сохраняя, как вдалбливали нам на политзанятиях долгие годы, основополагающий принцип общественного владения средствами производства и препятствуя эксплуатации человека человеком, дает каждому отдельному труженику право получать по труду, присваивать определенную часть прибавочной стоимости, что безусловно стимулирует производительность любого труда на пользу всему обществу. Мы же как черт ладана боимся самого термина: «частная собственность». Такая альтернативная партия, основывая свою власть на действительном волеизъявлении народа, может бескровно взять власть. Если хо-

тим мы выжить как народ и государство – мы обязательно придем к этому. Никакой «плюрализм» в одной, монополюбно правящей партии ничего обществу не даст. Демократический централизм – счастливая выдумка недобросовестных властолюбцев, всегда размахивающих от имени народа жупелом опасности, грозящей этому народу от внутренних и внешних врагов, – сможет задавить любую попытку «плюралистических» слабаков, гнилых интеллигентов, поверивших в гласность. При наличии же альтернативной партии, где, боюсь, тоже будет немало демагогов и лезущих к власти деятелей, ни один представитель правящей, ни один бездельник, проворовавшийся подлец, подхалим и бездарь, или даже ловкий демагог, клянущийся Марксом, Лениным, Горбачевым или еще кем угодно, но заваливший порученное дело, в своем руководящем кресле не усидит. А ежели ползет туда некомпетентный человек из оппозиции, то и ему народ долго властвовать не даст, не будет еще у такой особы крепких корней и связей, приобретаемых долгим нахождением в номенклатуре. Выгонят его. Выметут. И сменит его не очередной деятель, а представитель иной команды... Несчастливая Италия – сорок правительств за сорок лет. А разве сравнишь уровень народной жизни? Или та же буржуазная Франция, или Швеция? Э, да о чем говорить! Народ должен иметь право выбора. И не как Адам – единственной Евы... И не под нажимом властей предержавших, что пока повсеместно происходит в соцстранах, где в конституции содержится ста-

тъя о направляющей и руководящей роли единственной партии. Народ должен заставить шевелиться политиков, юристов, экономистов, – представляющих разные точки зрения. Тогда он сможет стать владыкой своего бытия не на бумаге, а на деле. Почему капитализм, сохраняя и охраняя основополагающие ценности частнособственнического присвоения прибавочной стоимости, может разрешить себе такое, может допустить «игру в демократию», а нам, на социалистических принципах, слабо? Повторяю – добровольно власти никто не отдает. Никто. Никогда. Речь и об отдельной личности, и о системе. И если мы поняли это и не собираемся раздувать новую гражданскую войну, то лишь осознание права личности и народа путем свободного волеизъявления, через свободные выборы своих представителей изменить порочную систему – единственный выход из болота, в котором Россия барахтается семь десятилетий.

Смотрите, какой я, оказывается, пророк – вступление это писано в начале восемьдесят восьмого, до победы Солидарности, до «бархатной революции» в Чехословакии, до свержения Хонеккера, Живкова, до, может быть, несколько поспешной казни Чаушеску... Нет, я не кровожаден, но... Собаке – собачья смерть! Идет январь 1990 года. Сегодня обо всех этих «бывших» наши говорят: «тиран, вор, палач, убийца». Народ казнил Чаушеску, предает суду Хонеккера и Живкова, с треском выгнал Якиша и вернул к государственной деятельности Дубчека, а президентом сделал недавно

лишь отбывавшего тюремный срок Вацлава Гавела – честнейшего и талантливового человека, писателя и правозащитника, два десятилетия шельмовавшегося не только чехословацкой мафией, но и нашими убежденными защитниками социалистических ценностей. А ведь так еще недавно – два месяца назад, прекрасно, куда лучше нас, зная цену всем этим бандитам, наши сегодняшние вожди перестройки (по моему глубокому убеждению, недалеко от них ушедшие, а то и тон им задававшие) целовались с ними, братались... Ну не безнравственность ли? И хотят, чтобы мы им верили... Когда осенью восемьдесят <второго> в одночасье прекратилась деятельность нашего Генерального, лишь пару дней назад выступавшего с «основополагающим» докладом в годовщину революции, когда наша пресса и политорганы уже подняли визг о необходимости всем народом «изучать» ценнейшие указания дряхлого маразматика, – мы с одним нашим редакционным деятелем, отставным полковником, вышли с траурного митинга, и он тут же понес Брежнева, – я не утерпел и спросил: «Как же ты еще вчера ратовал за то, что необходимо изучать доклад этого корифея марксизма?» И он не смущаясь ответил – «То было вчера...»

Жутко, когда такой уровень порядочности сохраняется и у наших нынешних «корифеев». О Ким Ир Сене – молчим, о выживающем из ума диктаторе Кастро – глухо поварчиваем, но всеми силами поддерживаем его режим. Да и не успеваем поздравлять тех «коммунистов», что на волне народного

гнева на какие-то дни приходят к власти, как это случилось в ГДР или Чехословакии, а через пару дней летят вверх тор-машками прочь! Продолжаем играть в давно дискредитиро-ванную игру: лишь бы провозглашал себя вождь сторонни-ком марксизма – и уже хорош. А вот гадкий убийца Пино-чет не переизбран, и мы ликуем. Хотя кровавый чилийский диктатор собирается уступить свою власть демократически избранному президенту без особых условий, согласно зако-ну... Или воем по поводу того, что американцы вторглись в Панаму и арестовали диктатора и торговца наркотиками Но-рьега – ах, ах, нарушили суверенность государства! А этот Норьега не передал власти законно избранному президенту, аннулировал результаты выборов. Разве не так? Китайский Ли Пен беспрепятственно душит демократическую оппози-цию, а мы молчим и шлем дружеские поздравления... Когда же в среде наших политиков возобладают моральные прин-ципы? Или я слишком требователен? Забываю, что политика – грязное дело? Или слишком прекраснодушен? Пока не от-правим «на пенсию» всю нашу прогнившую верхушку, всё в стране будет замарано ложью. И никогда не поверю, что Ча-ушеску или Живков смогли отправить в швейцарские банки сотни миллионов награбленных у народа долларов, а наши – чисты, как ангелы небесные. У них ведь куда больше воз-можностей было: и времени – семь десятков лет, и страна – не чета нищей Румынии или маленькой Болгарии... Восточ-ноевропейские мандарины из наших рук смотрели, нам под-

ражали... Пока не избавимся – все останется по-прежнему. Самое время помянуть слова великого пролетарского гимна: «...до основанья, а затем...» Только применительно не к исконным врагам тружеников – царям и буржуям, – а к своим кровососам. Ко всем этим Лигачевым, Гришиным, Романовым, Медуновым, Алиевым и прочей мерзости, как ушедшей в тень, так и до се выставляющей свои «принципы» в качестве примера для народной жизни. А мы даже брежневской семейки не можем тряхнуть, чтобы отобрать незаконно нажитое, а мы пойманных с поличным взяточников по суду обеляем – ах, несчастные, а то, что у них при аресте изъяты в доход государства миллионные ценности, так того наше правосудие видеть не желает, спросить, откуда сие, – не осмеливается... Еще бы – «правовое государство»! Не пойман – не вор. Разве сам взяточник признается, что брал? Позор! Все они повязаны одной веревочкой. Народа не обманешь. Как хочется верить, что удастся вывести на чистую воду всю эту камарилью. Сколько терпеть будем? Врага искать – жида, кооператора, мелочь аппаратную – бюрократа? Главный и основной враг народа – они, верхушка Политбюро, ГБ и армии, давно и накрепко усевшиеся на нашей шее. И все карабахские, все ферганские дела, если копнуть поглубже – дело их рук. Лишь бы отвести народу глаза, кинуть ему красную тряпицу, как разъяренному быку... Вот надеемся на Горбачева, верим ему, а почему он, при такой народной поддержке, при такой готовности масс – выжидает, не решается, боится кар-

динально дать по шее своим соратникам? Ведь и за рубежами у него столько адептов! Боится. Лигачева? ЦК? Может, у самого рыльце в пушку?

И как же больно, что отдирается от нас Литва – три десятка лет отдано ее литературе, в друзьях многие, земля ее мила. Но осудить не могу. Правы. Сколько же можно терпеть обман, глотать обиды и тешить себя обещаниями грядущего рая под рукоблудством КПСС? Даром, что ли, тысячи и тысячи честных людей возвращают партбилеты, просто рвут с партией и у нас, и за рубежом? Даром ли во всей Восточной Европе поставлен в повестку дня вопрос об объявлении компартии вне закона? Устрой сегодня референдум, спроси: как ты относишься к этой партии? Убежден – у нас в стране не собрала бы она и десяти процентов приверженцев. Вон в Польше – 5 всего. Официально...

Такое вот лирическое отступление... Боюсь, что множество подобных доведется встретить читателю этой исповеди. Дело в том, что пока писалась моя исповедь – шла жизнь, вторгалась в сюжеты, заставляла что-то переосмысливать... Думаю, все это закономерно.

В своей исповеди я сейчас крепко отвернул в сторону от того, о чем написано было мной уже много-много страниц, от (до какой-то степени) последовательного изложения событий собственной жизни и их осмысления на разных уровнях сознания. Эта исповедь – она же и покаяние. В грехах больших и малых. Надеюсь, что читатель и сам поймет это.

Не буду вычеркивать своих гордых заявлений, дескать: «я есмь беспартийный большевик». Так было.

Впервые сии заметки прервала встреча Никиты Сергеевича Хрущева с деятелями литературы и искусства, дебош в Манеже, а вскоре и пресловутый «дворцовый переворот». Общественная жизнь возвращалась на круги своя. Началась эпоха Брежнева – как теперь именуют ее, «стагнации», по-проще – застоя, а еще проще – гниения и разложения. От жизни стало совсем дурно пахнуть. Вонять. Покатались годы не кровавые, не героические, даже не кукурузные и целинные – годы тупого затаптывания ростков, выбившихся из-под земли в конце пятидесятых. Восторжествовали привычная для нас бездарность, конформизм, демагогия и просто, как теперь выясняется, бесстыдная уголовщина в самых верхних эшелонах власти, в кругах рангом пониже и до самых низов, до приписчиков, несунув и т. д. Говорю не только об окружающей жизни, но и о постепенной кончине, казалось, навсегда, своей задумки. Кому нужно? Молод еще был, едва на четвертый десяток повернуло. А тут пришло в жизнь новое, захватившее меня занятие – литературные переводы. Сначала стихов литовских, а там уж поднаторел, за прозу вместе с женой принялся. А главное – новая семья, вторая дочь. Не до крамольных записок. Сам считал их крамольными. Однако все последующие годы и мысленно, а нет-нет <да и> перышком по бумаге, возвращался к ним. Очень хотелось рассказать свое – ведь уже немало было видено, узнано, пе-

редумано.

Помню один разговор со своим главным редактором – я работал уже в журнале «Советская литература», просидел там тридцать два года, – завредакцией, литсо-трудником, редактором отделов художественной литературы, искусства, критики, публицистики, секретариата. Обо всем этом ниже. Так вот, разговор с главным. Им тогда был в журнале прозаик Дмитрий Еремин. Конец пятьдесят шестого года. В ответ на мои радикальные высказывания по поводу венгерских событий, ратования за невмешательство, за свободу слова для литераторов и прочее, – <я> считал, что все мы – работники литературы – однозначно относимся к этому, – он заявил: «Дай нам свободу слова, и у нас начнутся подобные дела! Не кто иной, как писатели – закоперщики контрреволюции! Взбудоражили нарож Вот так. Добровольно желал быть рабом. Свобода слова ему, «писателю», как собаке пятая нога. А ведь вроде порядочный человек, да и XX съезд только в начале года прошел...

Господи, опять меня в сторону повело. Давайте считать, что вступление окончено, и затанцуем-ка от печки.

# Легенды детства и моя родословная

Эта главка, вероятно, может быть интересна очень узкому кругу людей. Скорее всего, моим внукам и правнукам, которые, надеюсь, когда-нибудь появятся. Остальные читатели могут безболезненно пропустить ее. Хотя, как мне кажется, в ней корни многих последующих мыслей и дел моих.

Почему легенды? Потому что не совсем факты. Что-то случилось со мной, мною самим видено, пережито – считай, факты, а что-то именно так запомнилось, хотя полной уверенности в подлинности происшедшего нет. Что-то отложилось в памяти из позднейших рассказов родных и близких, а иное, может, и прифантазировано, не с тобой самим было, а с кем-то другим. Но вот заложилось, что вроде с тобой, и уже не отличишь – было, не было. Потому и легенды.

Самые первые впечатления, самые ранние, вероятно, таковы: высокий белый потолок, под ним матово-молочная полусфера абажура. Отец, это, конечно, он, носит меня на руках и, баюкая, напевает: «Сыдыть ко-озак на могы-иле, з витром ро-озмовляе: кажи, ви-итер, кажи, бу-уйний, де козачча доля?..» И мои вопросы: «А шо таке козак? А шо таке – на могыле?» Правда, вопросы уже позже, самое первое – грустный напев и понятно-непонятные слова. Сколько мне? Год,

полтора? Родители с юга Украины. В доме наряду с русским полноправен украинский. Отец в начале века окончил Херсонскую учительскую семинарию. Он из большой крестьянской семьи, что жила в Нижних Серогозах – селе на левобережье Днепра, вернее, верстах в сорока от реки, на Крымском шляху, по которому «чумаки с Крыму сіль возылы». Где-то неподалеку, в степи, известное на весь мир имение баронов Фальцфейнов – Аскания-Нова. Дед Архип Родионович – русский. Бабушка (а ведь я ее имени не знаю!) – украинка. Видеть мне их не довелось. Знаком только по рассказам. Ребенок я у своих родителей поздний. Ни с отцовской, ни с материнской стороны ни бабушек, ни дедушек не застал, задолго до моего появления на свет божий покинули они его. Мама – горожанка. Из Херсона, из уважаемой в городе еврейской семьи с не совсем обычной фамилией – Доктор (по семейной легенде, кто-то из далеких предков, еще в Германии, окончил университет. Отсюда и – «Доктор»).

Еще раз предупреждаю: несколько последующих страниц могут заинтересовать далеко не каждого читателя. Скорее всего – моих потомков: двух дочерей и внуков. Именно в расчете на их интерес я и пишу эту краткую родословную. Многого и сам не знаю или не помню, но о том, что держу в памяти, хочу сообщить им. Итак, рассказ о некоторых наших родичах. Если не я, то кто же сообщит им о них, поведаст о том, что жили-были, оставили свой след на земле и ушли, как многие и многие миллионы других людей, особенных подви-

гов не свершивши, подлостей не творивши, добрые ко мне в моем детстве, самим существованием своим утверждавшие вечность на нашей земле человеческого рода. Потому и считаю нужным отметить здесь имена близких, кто наряду с отцом и матерью был мне воспитателем, чей пример учил по-доброму относиться к людям, их заботам, сочувствовать им в горе и радости. Без них, вероятно, не было бы и меня, такого, каким дожил я до своих шестидесяти.

Мало, ох как мало знаем мы, сегодняшние, о своих корнях. У простых людей испокон веку нет обычая составлять родословные и рисовать генеалогические древа. Чай, не дворянских кровей. Но век назад и в простых семьях было иначе – семьи-роды жили кучно. Внуки от дедов-бабок знали и про пращуров, основателей рода, передавались в семьях прадедовские заветы. А мы какие-то Иваны, не помнящие родства. Может, о дедах-бабушках знаем, да и то лишь те, кому довелось с ними жить. Ну, может, еще о дядьях-тетках родных. А уж о двоюродных-троюродных... Или о тех, кто прежде нас? Разбросало, раскидало людей по градам-весям, а то и по разным странам планеты стремительным бегом двадцатого века. Вы только задумайтесь: столетие назад все жители какой-нибудь деревеньки могли быть родственниками или свойственниками. Тут и на помощь ближнего можно было рассчитывать, и сам человек душевнее относился к однодеревенцам – играли вместе в детстве, глядишь, какая-нибудь тетка Лукерья, матери или бабке троюродная сестра, прилас-

кает, сунет вкусный кусок, защитит... Дальше волости или уездного городка никто никуда носа не казал, разве что молодые парни, под рекрутчину угодившие, да еще мастеровые-хозяева, в отход по нужде отбывавшие. Но корней и они не теряли, не забывали дома родного. А теперь? Вот у меня два внука от двух дочерей. Двоюродные братья. А ведь в их крови весь евразийский континент. Смотрите сами: Алеша Радов, сын младшей дочери. Вторым его дед, известный в свое время очеркист Георгий Радов, по <настоящей> отцовской фамилии – Велш. Рассказывали мне, что он сын то ли валлийца, то ли ирландца, попавшего в Россию после англо-бурской войны и осевшего здесь. То есть – с самого Запада Европы. Вторым внук Володя Герасимов, сын старшей – Маши, со стороны отца – японец. С самого востока Азии. И оба они москвичи, русские. Вот и пишу для них. Пусть хоть что-нибудь про род свой помнят.

Отец рассказывал мне о прадеде Родионе, потомке уральского, яицкого казака Герасима. После поражения Пугачевского восстания упразднено было Яицкое казачье войско, как известно, «запятнавшее» себя участием в бунте. Кого-то казнили, рвали ноздри, ссылали на каторгу. Остальных, видимо, не поддержавших Пугачева, выслали в башкирские степи, под Уфу. Наш предок Герасим тоже попал туда. Его не лишили «прав состояния» – остался в казачьем сословии. Короче, сохранил свободу. Где-то в сороковые годы прошлого века его сына или внука Родиона Герасимова послали с

Урала на Украину, где тогда шли «картофельные бунты». Уехал он туда с двумя младшими сыновьями Архипом (моим дедом) и Савелием. Двое старших остались в Башкирии. Семейные уже были. Еще в начале века, по словам отца, какие-то связи с уральскими дядьями сохранялись, подавали они весточки. Даже в тридцатые годы кто-то из троюродных появлялся в Москве. Но я их никого не помню. Мой прадед Родион назначен был уездным картофельным старостой. Мотался по селам, учил крестьян, как эту «чертову ягоду» сажать, как за ней ухаживать, как собирать и что «с той бульбы йисты». Подумать только: каких-нибудь полтора века назад не знали наши селяне картохи. Своего второго хлеба. Спасительницы в голодную годину. Что кормило народ в недороды, в войну? Она и поныне одна из главных на нашем столе. В Литве и Белоруссии – основа многих национальных блюд. Драники, блины жемайтйские, «цеппелины»... А котлеты картофельные с грибным соусом, а жареная на сале, а печеная в золе, а в мундирах – с селедочкой да лучком? А заморские чипсы? Кто откажется? Во время войны, помню, лакомством были и блины из крахмала, лепешки из очисток. За милую душу шли. Спасибо тебе, прадед Родион! Есть и твоего труда толика на сегодняшнем нашем столе. В семье Герасимовых бытовало предание, что дожил он до ста двадцати лет. Заболел, заблудившись зимой в степи. Лошадь Серко сама привезла полузамерзшего старика в Серогозы. А умер он, повествовали, весной, когда в саду за-

цвели яблони. Сам смертушку свою предсказал, созвал всех внуков-правнуков, попрощался и отошел. Красиво. Боюсь, правда, тут не без плагиата – в известном довженковском фильме «Земля» есть очень схожий эпизод. А вот легенда о том, что на девятом десятке сменились у Родиона во второй раз зубы – выпали и выросли новые, может, и имеет под собой какую-то почву. Почему, спросите? Вот ведь и у отца моего, и у меня, и у одной из сестер, да и у моей младшей дочери повыврасталось не по тридцать два положенных человеку – костяных, а по тридцать три. Откуда сие? Уж не Родионовы ли гены дают о себе знать?

У деда Архипа Родионовича было шестнадцать детей. У Савелия тоже более десятка. Из отцовых сестер и братьев знал я не всех: кто во младенчестве помер, кто на японской, кто в первую мировую да в гражданскую погиб. Отец – из младших в семье, а ему уж сорок четыре было, когда появился я. Знал и любил старшую папину сестру тетю Нилу – Неонилу Архиповну. Отец звал ее «ненькой». Как водилось тогда в больших крестьянских семьях, вынянчила Нила младшего (на шестнадцать лет!) братишку. За отсутствием законных бабушек и дедушек, почитал я тетю Нилу за бабушку, и она меня за внука держала. Хотя у нее и настоящие были, старше меня. От двоюродных моих Пети и Павла, в честь моего отца так названного. К слову, и сына младшего отцова брата дяди Афони в честь отца Павлом назвали, и еще кого-то из детей родственников и друзей. В семье рас-

сказывали, что умел отец угадать пол будущего младенца. И предсказывал. Вот, к примеру, как обстояло дело с сыном Афанасия: знал отец, что тетя Феня – Хеония Павловна, жена дяди, на сносях. В то время, году в девятьсот восьмом, жили они далеко друг от друга, – дядя Афоня после первой революции был выслан на Урал, работал там на одном из заводов, а отец учительствовал на Херсонщине. И вот, как говорится, в один прекрасный день шлет он брату телеграмму: «Поздравляю рождением первенца». Только получили, а к вечеру тетя Феня родила сына. И нарекли Павлом. Про это слышал я в детстве и от дяди, и от отца, и от тети Фени. Обладал Павел Архипович и даром предвидения. Тетя Настя, сестра его, рассказывала, как в украинском селе, куда газеты доходили из губернского города на третий-четвертый день, он как-то сказал утром: «Умер Лев Толстой». Тогда вся страна жила слухами о его уходе из Ясной Поляны, никто не знал, где он и что с ним. А отец рассказывает сон: будто привиделась ему комнатка, полусумрак, простая кровать, на столе лампа со стеклянным абажуром. Два человека в комнате – седобородый и чернобородый. Старый прилег на кровать, а одеяло наползает от ног, он старается сбить его, а оно ползет, ползет и прикрыло. И замерло тело. Умер. А потом получили они газеты. И фотографии. На одной – комнатка, кровать, керосиновая лампа на столе со стеклянным абажуром... А вот то, чему я сам свидетелем был: в мае еще сорок первого года, когда немцы вошли в Югославию

и вокруг вплотную заговорили о войне с фашистами, хотя кое-кто вслед за нашей пропагандой утверждал, что никакой войны не будет (как же – Договор!), отец сказал: «В конце июля будут за Днепром. Приснилось, что на шлях, ведущий к Серогозам с запада, валятся с неба спелые арбузы, колются, бьются и катятся к Востоку. Будет там враг, когда арбузы поспевать начнут». Так по слову его и вышло. Еще разные разности об отцовских вещих снах передавали в семье. А про определение пола новорожденного он мне, уже юноше, говорил так: это вещь тонкая, с налету, не вникнув глубоко, не зная досконально отношений между супругами в данное время, предсказывать не берись. Отношения эти меняются: то он семье голова, то она. И кто от кого на данный момент больше зависит, кто духовно сильнее, чей, может, на первый взгляд и незаметный, верх, – мужа – сын родится, жены – дочь. У меня на памяти несколько верных отцовых предсказаний. Сам я тоже пытался, но не всегда попадал. Однако про себя точно знал: у первой жены должен родиться сын. Да такое было время – молодые, неустроенные совсем. Жили врозь, я еще в армии служил... Родичи уговорили ее на аборт. Хоть я и очень не соглашался. И вот нету сына. А потом уже, конечно, дочь... И вторая – дочь. Ничего не попишешь – жена у меня в семье главная. Уважает, любит, верит, но главная. Сильнее характер. И про сестер своих знал, что сыновей народят. И старшая, и младшая. Мужики им попались настоящие. Крепкие. Хоть один и спился, а другой рано

ушел из жизни. Но народили мне сестры четырех племянников. Вот так.

Вернемся, однако, к тете Ниле. Жила ее семья в Гайвороне, под Винницей, на Буге. Кроме сыновей, было у нее и две дочери, Маруся и Паша (тоже Павла!). Фамилия им Клавацкие. Сам глава семьи к тому времени уже помер, не видал я его. А в Гайвороне мы с отцом гостевали. И сама тетя Нила в Москве бывала, и дети ее наезжали, и внуки – почитай, ежегодно до войны. Потому и помню всех хорошо. Маруся учительствовала, Петя тоже, Павел – агроном, Паша, как и моя старшая сестра Муза Павловна – врач. (Ровесницами были три двоюродных: моя Муза, дяди-Афонины Муза и Паша). После войны, когда не стало уже тети Нилы, умер и отец, встречался я только с Пашей и Павлом. Петя погиб в войну, на фронте. А Паша все время проработала в госпиталях. После демобилизации заехала в Москву, разыскала нас. Водил ее в театры. Поразило меня, как плакала эта молодая, в орденах и медалях <женщина>, капитан медицинской службы, слушая «Евгения Онегина». Меня в те поры оперы еще не слишком трогали, мне драму подавай! А Павел заглянул к нам в начале пятидесятых. На ВСХВ приезжал. У него было несколько медалей выставки за достижения в сельскохозяйственной области. С тех пор потерял я Клавацких из виду. Рязань, армия, Чита, семья. Другие адреса, другие интересы. А жаль. Прекрасные люди. Да и вообще, большинство родителей растерял, дурень. У каждого своя жизнь. Сестер родных

и то раз-два в году видел, хотя любил их и младшая все эти годы жила в Москве.

До войны ближе всех из отцовской родни была мне семья дяди Афони – следующего за отцом сына Архипа Родионовича. Жили они в Москве. Встречались часто – то мы к ним, то они к нам. Дядя – инженер, работал главным на каком-то заводе, на самой окраине (...)

*<отсутствуют листы машинописи 19 и 20>*

(...) и дружественности, и нежности, и верности. И стойкой неприязни к злобе и предательству. Каким-то шестым чувством умеют они распознавать человека. Иначе им и нельзя, ведь от него порой зависит собачья жизнь. Ну да опять я что-то очень в сторону забрал, но обещаю, что в моем монологе найдется место и для моих Динки, Лады, Урса, Бима и Бимки – ибо немало места занимали они в моей жизни.

У дяди была отдельная двухкомнатная квартира, по тогдашним временам – редкость. Свои кухня, газ, даже ванная, правда, на лестничной клетке, сразу для нескольких квартир. Меня там частенько купали. Был у дяди в большой комнате рояль. Играли тетя Феня и двоюродная сестра – Муза. Муза в моем младенчестве много со мной возилась. Видимся теперь редко. О ком еще следует упомянуть? О папиной сестре тете Насте, учительнице, о брате – дяде Володе и его жене тете Нине, тоже учителях. Вообще в отцовском роду все больше учителя – интеллигенты в первом по-

колении. Учителем был и дядя-Нилин Петя, и старший дядя-Володин сын Лева, и двоюродная сестра, дочь Савелия Мария Савельевна, и его же внучка, уже моя троюродная <сестра> и тоже Мария – Гавриловна, – хотя звал я ее тетей Марусей. И многие другие родичи, коих имена позабылись. Иных знавал только по рассказам, других видел в детстве мельком и не запомнил. В доме, когда наезжали родичи, обсуждались вопросы педологии, слышались имена Руссо, Песталоцци, Ушинского, Макаренко. В предвоенные годы теть Настя жила с отцом в поселке Дзержинского под Москвой, учительствовала в той же школе, что и он. Долгожителем в отцовском поколении был дядя Володя, умер в начале восьмидесятых, девяноста пяти лет. Другими моего детства были его сыновья Слава и Саша, старший Лева жил уже отдельно от родителей. Саша старше меня на четыре, а Слава на шесть лет. Мои «братья». Слава еще до войны успел поступить в Ленинградскую военно-морскую медицинскую академию. Кончил году в сорок третьем, служил корабельным врачом. Живет в Ленинграде, уже на пенсии. Саша пошел было по стопам брата, уехал в Ленинград сдавать экзамены летом сорок первого. Погиб при обороне города. И Лева погиб на фронте. Из известных мне братьев отца назову еще Алексея, Анисифора и Тимофея. Все они старше его. Уникальной профессией владел дядя Тимофей – дегустатор винных подвалов то ли в Сухуми, то ли в Батуми. Женат он был на местной грузинке. Когда умер, папу вместе со мной,

как представителей мужской родни покойного, вызвали на похороны телеграммой. Запомнились те похороны криками плакальщиц, огромным поминальным столом в саду, какими-то людьми в чохах, папахах, с кинжалами на поясах. А за год до того мы гостевали у дяди Тимофея. Водил он нас по сумрачным сырým подвалам, переворачивал бутылки на полках, слизывал капельки проб и все говорил отцу: «Нет, ты этого не пробуй, сейчас дойдем, я тебя таким угощу – семьдесят лет!» Сам не пил, но, как вспоминали в семье, умер от цирроза печени. Мне тоже тогда дали пригубить чего-то сладкого, пахучего и терпкого. Кружилась голова.

Большая была у отца семья. Жили дружно, помогали, старшие тянули младших. Удалось Архипу Родионовичу вывести всех детей в люди. Сам он познал грамоту, как рассказывали, только годам к двадцати. Но был книгочеем, большим поклонником Льва Толстого, даже, по слухам, писал ему. Но «непротивленцем злу» не стал. Дети пошли в революцию, и дед за ними. Верно, жил в Герасимовых вольный казачий дух. Недаром сожгли перед четырнадцатым годом черносотенцы архипову хату, а власти выслали его, уже старика, по этапу в Архангельскую губернию. Умер он в начале двадцатых. Восьмидесяти четырех лет, бабушка умерла много раньше.

До Великой Отечественной войны в Херсонском областном музее был целый стенд, семье Герасимовых посвященный – висели там фотографии моих дядьев и тети Насти во

главе с Архипом Родионовичем. Участники двух революций. Своими глазами видел. Дядю Афоню в ссылку отправили, отец дважды в херсонской тюрьме сидел. Говорили мне, что и ныне на здании Херсонского обкома висит мраморная мемориальная доска с именами первых губернских большевиков. Среди других имен и отцовское – Павла Архиповича Герасимова – организатора большевистских ячеек на Херсонщине. Его даже «Буревестником» звали. До революции отец лет пятнадцать учительствовал по селам, руководил губернским съездом народных учителей, после революции был продкомиссаром Юга Украины, создал первую в тех местах коммуны «Нове життя». В первый раз угодил в тюрьму, как член партии эсеров, но удалось доказать, что он уже год как из той партии вышел, а что был уже большевиком, суд не дознался. Выпустили. Потом попал как большевик. Тюремным старостой был. Проводил голодовку политических, протестовавших против произвола тюремщиков. Интересно про все это рассказывал. Были дома и фотографии тех лет – группа арестантов во главе с отцом, сам он у зарешеченного окна – это после победы в голодовке пришел в тюрьму с воли фотограф и снял их.

И у деда с материнской стороны тоже немалая семейка была. Двенадцать детей. Дед Нахман (Наум) Доктор из купеческой семьи, его предки «платили гильдию», чтобы иметь право жительства. В Одессу они вроде из Германии перебрались. И раввины, говорят, в роду водились. К тому момен-

ту, как родилась в 1887 году мама, семья обеднела. Нахмана, правда, уважали в городе, но никаких купеческих привилегий у него уже не было: мелкий строительный подрядчик. Бабушка Дина из семьи Резниковых – тоже из большого клана. У мамы с ее стороны множество двоюродных и троюродных. Кое-кого из них я знал. Но писать о них не стану. А вот про родных теток упомяну: Настя (Эстер), Клара и младшая – Анна. К теткам Насте и Ане мы почти ежегодно ездили в гости, в Херсон, там же тогда жила и папина тетя Настя и неподалеку, в Голый Пристани, учительствовал дядя Володя. Полно было и других родичей. Только у маминой сестры Насти четверо детей: Муся, Рая, Борис, Аня. О них несколько ниже. А сейчас о мамином брате Шмере (Шмерле), которого я ни разу не видал, но слышан был основательно. Он, эсер-боевик, сидел в Херсонской тюрьме одновременно с моим будущим отцом. Отсюда и знакомство отца с матерью – по просьбе брата носила она передачи своему «жениху»: в городе тогда у него близких не было. Шмеру приговорили к ссылке в Сибирь, бежал он оттуда, эмигрировал во Францию. Как рассказывали, там, в эмиграции, и одолела его психическая болезнь – очень тяжело переживал издевательства тюремщиков. Но еще до этого переехала к нему из Херсона жена, родила сына Ику (Исаака?). А дядя Шмера после войны попал в психлечебницу при каком-то монастыре. И лет двадцать заботились о русском революционере – террористе да вдобавок еврее – сердобольные като-

лические монахини. Он был не совсем помешанным. В периоды просветления переписывался с сестрами, собирался вернуться на родину. Я сам читал его открытки с ятями и твердыми знаками – по старой орфографии. Дядюшка навивно полагал, что его революционные заслуги будут приняты во внимание, что ему дадут возможность адаптироваться к незнакомой ему жизни в свободной России. Шел тридцать седьмой... Переписывалась мама и с женой Шмеры, и с Икой. Он ушел в маки и погиб. После войны уже получили мы фотографию и письмо от его жены и сына Клода. Сколько мне известно, этот Клод – единственный обладатель фамилии прадеда: Клод Доктор. Сын тети Клары Роберт, талантливый хирург, начальник госпиталя в партизанской армии Тито, тоже погиб. В самом конце войны. Его госпиталь находился в тихом словенском городке, у границы с Австрией. 14 апреля 1945 года на городок набрела прорывавшаяся на запад эсэсовская часть. Хирург Роберт Куковец организовал, защищая раненых, круговую оборону и погиб вместе со своими помощниками и пациентами. Посмертно ему присвоили звание Народного героя Югославии, в Любляне есть ему памятник. Так и лежат по всей Европе мои двоюродные братья: во Франции, под Любляной, в украинской Умани, где похоронен сын тети Нилы Петя, где-то в братской могиле у русской деревни покоится прах дяди-Володиного Левы, под Ленинградом нашел свою смерть Саша... На мемориальном кладбище, на горе Славин, что высится над Братиславой, ле-

жит еще один папин племянник – младший лейтенант Евгений Герасимов. Недавно, будучи в Чехословакии, увидел я его могильную плиту. Самого Женю почти не помню. Он сын одного из старших отцовских братьев, и по концу войны был слух, что участвовал в освобождении Братиславы и погиб. Такая вот география... У меня со всеми этими солдатами общие деды и бабушки.

Почему Роберт оказался в Югославии? Потому что его мать, тетя Клара, еще в начале века, отчаявшись получить в России высшее медицинское образование – а она обязательно хотела стать врачом: не акушеркой, а настоящим врачом, – уехала в Швейцарию. Учиться. В России женщинам тогда не разрешали поступать в медицинские высшие учебные заведения. Еще на сестер милосердия – да, а уж доктором – никак! В Лозанне познакомилась она со студентом, будущим инженером Янкой Куковцем – словенцем (тогда Словения входила в состав Австро-Венгрии), стала его женой. И в Россию уже не вернулась. Поселились они в маленьком городке Мариборе, родили двух сыновей, Володю и Роберта. Мама, сама тогда еще гимназистка, бегала по урокам, добывала деньги на собственное учение и на помощь лозаннской студентке-медичке. Семья Нахмана Доктора к тому времени совсем оскудела. Он умер довольно рано, вроде бы году в девятом. Бабушка Дина – в двадцать втором, в Камышине. В голодный год... Вот, пожалуй, и все, что помню я о своих предках и родственниках старшего поколения. Мать у

меня была храбрым и принципиальным человеком – не желая признавать «правил игры», всю жизнь переписывалась с сестрой, с двоюродными братьями Резниковыми, еще до революции мальчишками эмигрировавшими в Америку. И это несмотря на тридцать седьмой и на сорок девятый годы, не обращая внимания на то, что некоторые московские родственники порвали с ней из-за этого отношения. О них-то и не хочу писать! Так что вся жизнь семьи Куковцев, как и наша им, была нам известна и близка. Регулярно отсылались и получались фотографии: вот два молодых парня на мотоцикле – Роберт и его брат Володя, вот жена Володи в карнавальном костюме, получивши какой-то приз в Мариборе, вот тетя с дядей на фоне Эйфелевой башни... Дочь Володи – Невенка, сын Роберта – Петр... После смерти тети Клары, где-то уже в конце семидесятых – ей было за девяносто – все связи прервались. Володя еще прислал два-три письма, но мы друг друга не знали, и переписка заглохла. Невенка теперь, пожалуй, и сама бабушка, Петр работал шеф-поваром в одном из мюнхенских ресторанов. Мои «зарубежные связи». Тетя неоднократно бывала в СССР и до войны, и после хрущевского примирения с Тито. Звала к себе – у нее возле Дубровника на Адриатике был свой домик. Мама собралась было ехать, но ОВИР тянул с разрешением целый год, и когда я, не утерпев, лично явился туда за ответом, то мне было объявлено: «Мы считаем поездку нецелесообразной». Они «считают»! Две старые женщины, прожившие в разных

странах семь десятков лет, но сохранившие живые сестринские отношения, дружившие, помогавшие друг другу, – не смогли повидаться. Я так разозлился на это малопочтенное учреждение, что много раз отказывался от поездок за рубеж, хотя меня и направляли туда в командировки: в ГДР, Венгрию, Чехословакию. Наш журнал выходил на разных иностранных языках, и в виде поощрения нас посылали за границу. Не желал я иметь дел с ОВИРОм, пропади он пропадом. Лишь в восьмидесятые годы сменил гнев на милость, посетил Чехословакию. И все равно это – «нецелесообразно» – никогда не забуду, так обидно за маму. Тетка звала ее на два месяца, на полное свое содержание, даже билет обратный покупала... Обидно, горько... и стыдно. Вот, пожалуй, и все сведения о близких родственниках. Жили, трудились, растили детей, мечтали о лучшей для них доле. Воевали, гибли. Но не было среди них ни единого, кто сражался бы по ту сторону баррикад.

Теперь о самых близких. Мама, золотая медалистка Херсонской Мариинской женской гимназии, окончила первый выпуск юридического факультета Высших женских (Бестужевских) курсов в Петербурге. Как было записано, вернее, напечатано, в ее дипломе, тоже со сплошными «Весьма» – отлично – на большом листе веленовой бумаги, с водяными знаками, гербовыми печатями и подписями многочисленных профессоров – она получила право работать «помощником присяжного поверенного». Я в детстве гордился: «как Ле-

нин». Похвастаю – у меня и жена с золотой медалью окончила школу, и дочь младшая Анка – золотая медалистка, получавшая в институте именную стипендию и недавно ставшая кандидатом филологических наук. У Анки и дедушка с материнской стороны – медалист, правда, серебряный, и тоже – кандидат наук. Вот они какие – три поколения подряд! Среди бестужевок всегда существовало некое братство, вернее, «сестринство». Незнакомые, в разные годы и разные отделения окончившие, они при одном слове «бестужевка» готовы были принять в свое сердце сестру по курсам. Я заметил, что есть это чувство и у уходящих уже из жизни предвоенных «ифлийцев» – студентов института философии, литературы и истории, этаким советском лицее, кузнице нашей элитной интеллигенции. Сохранились еще тогда «зубры» – старая, высокоинтеллектуальная профессура, работавшая не за страх, а за совесть, стремившаяся передать знания, научить, видевшая в каждом студенте – личность. Да и сами эти профессора были личностями, внесшими немалый вклад в гуманитарные науки. В конце сороковых их повыбили: космополиты безродные... хотя не все были евреями. Ох, какие же мы дурни – и сегодня можно услышать наскоки «памятников» на людей науки, основным негативом коих является пятый пункт. Стыдобина! Даже первые послевоенные выпускники МГУ как-то гордились своей причастностью к «альма матер». В них еще что-то было, какая-то преемственность культуры российской, традиции. Выпускники

же конца пятидесятых и последующих годов в массе своей ничего подобного не ощущают. Сам такой. И уровень преподавания, и собственный человеческий и культурный уровень этих «выше-образованных» молодых людей стал так низок, личности так нивелированы, что оторопь берет. Конечно, и в их среде есть высокоталантливые, образованные, интеллигентные, но их меньшинство. И не они определяют гордое звание – выпускник Московского университета. Если я ошибаюсь, пусть хорошие люди на меня не сердятся, но ведь старшая моя дочь тоже кончала МГУ, слышал я о ее сокурсниках, вижу, что никакой общности, никакой «печати» на них нет. А уж о вечерниках и заочниках, поставленных на поток, и говорить не приходится: сплошная серость. Учившиеся ради «корочек», по известному выражению «без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек». Такой серятины напекли, а ведь именно эти люди сегодня учат других – преподают, редактируют, судят. Говорю только о гуманитариях. Сколько лет пройдет, пока схлынет эта мутная волна, пока в университеты и школы придут настоящие учителя, тонкие, авторитетные, умные, бескорыстные, подвижники и пророки?!. Без этого нет преемственности культуры, ее движения, развития. И никакая «перестройка учебного процесса» ничего не даст. Как говорил великий Крылов: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь!» При назначении на должность преподавателя я бы завел анкету, где не было бы вопросов о национальности, о том, есть ли

родственники за границей, не подвергались ли родители репрессиям – мать все это, – а вот <были бы> о том, кто тебя учил (не какое высшее заведение окончил, а именно, кого считаешь своими учителями!), какие у тебя любимые писатели, философы, художники. Чему собираешься научить своих подопечных?..

Многие из бестужевков ушли в революцию. И сами были ее деятелями, и подругами видных государственных и партийных функционеров. Большевичками, эсдечками, эсерками. Или просто учили детей, старались передать им то, что получили в наследство от замечательных людей – гордости русской культуры, представителей ее «серебряного» века, интеллигентов конца девятнадцатого – начала двадцатого. Господи боже, как же далеко ушли бы мы вперед, не повибив – революцией, гражданской войной, сталинщиной, хрущевскими недодумками, брежневскими застойщиками и взяточниками, – этой «прослойки». Бестужевки были на виду, и, простите невольный каламбур, ввиду этого и получали если не пулю, то сроки на Соловках, в Магадане и на Колыме. В довоенные годы многие из них были уже беспомощными старухами, с мизерной пенсией, без мужей и детей – война и разруха сделали свое черное дело. Те из их однокашниц, кто был еще правоспособен, кто работал в Москве, Питере, других городах, – списывались, ежемесячно собирали какие-то суммы и помогали неимущим. Мама в этом деле участвовала очень активно, была казначеем, ей привозили и присылали

тройки и пятерки, которые она регулярно отправляла старшим подругам.

В студенческие годы была она эсдечкой – социал-демократкой, ни большевичкой, ни меньшевичкой. С молодой задоринкой в голосе говаривала: «...и экспроприаторы – экспроприруются!» И упрекала меня, уже студента: мы, мол, тайком собирались, Гегеля и Фейербаха читали, «Капитал» конспектировали, листовки по заводам носили – а вам все на блюдечке подносят, но вы кроме «Краткого курса» ничего не знаете и знать не желаете. Позор! Не без ее влияния, я все-таки кое-что почитывал. Ленина, Энгельса, даже Гегеля, и, конечно, Ницше, Хейдеггера, Фрейда. Последних доставать было нелегко и опасно, читал не систематически, в голове – хаос. Но Плеханова проштудировал еще мальчишкой, до войны. И «К развитию монистического взгляда на историю», и «К вопросу о роли личности в истории». Книги эти были в домашней библиотеке, как и тома второго собрания сочинений Ленина. Стыдно признаться, но первый том «Капитала» до конца не осилил. В качестве «внеклассного чтения». Но все же, по сравнению с некоторыми своими приятелями, был подкованным марксистом, что многие и признавали.

Имя Георгия Валентиновича Плеханова пользовалось в нашем доме особым пиететом. Мама была с ним знакома еще до революции, на том столике, где делал я уроки, стояла скромная рамочка с портретом Плеханова и его надписью «Милой Тане Доктор». Позже этот портретик исчез, и осо-

бых разговоров по этому поводу в доме не было. Но так или иначе, а назвали меня Георгием в его честь и, начиная печататься в пятидесятых годах, я подписывался «Г. Бельтов» – этот псевдоним даже занесен был мной в билет Союза журналистов, который вручили мне в 1957 году.

Познакомились мои родители, как я уже писал, в Херсоне. После того, как отца «за недоказанностью обвинения» (бывало же такое в царской России!) выпустили, они с мамой продолжали дружить. К тому времени в губернский Херсон приехал папин младший брат-погодок дядя Афоня. И вот в доме патриархального еврея Нахмана Доктора дневали и ночевали отпрыски казацкие, на кухне, рядом с фаршированной рыбой, жарилась традиционная яишня со шкварками, в столовой аппетитно пахло салом и колбасой – дарами Серогоз. «Папа делал вид, что ничего этого не замечает», – рассказывала мне мать. А «Панька-Афонька», мало того, что кормили его детей «трефным», так еще пели украинские песни, уводили по субботам дочерей на всякие гулянья. И, кроме того – оба участвовали в дружине самообороны. В те годы по югу России катилась волна еврейских погромов, и честные русские люди, как могли, противились черносотенцам. Самые радикальные из них вступали в пятерки, всякими правдами и неправдами добывали револьверы и готовы были стрелять в толпу погромщиков. Горжусь, что и мой отец делал это. И, как рассказывали, их пятерка – двое русских и три еврейских парня разогнали в дни разгула чер-

носотенцев готовую к погрому толпу. Потом отец учительствовал в разных селах Юга Украины. А будущая моя родительница уехала в Петербург на курсы. Пути их надолго разошлись. У меня от первого брака отца было две сестры. Ныне осталась одна старшая. В похвалу и моим родителям, и их матери Марии Сергеевне – они не препятствовали нашим встречам. Я сестер всегда любил и часто виделся, одно время сначала Муза, а потом и Мирра жили у нас в Москве, учились. А в начале тридцатых помню мамины вопросы: «Паня, ты отправил деньги девочкам?» Продуктовые посылки она посылала сама, на Украине был голод. Высылали, что могли, не только им, но и семье маминой тети Насти, и тете Ане. Как я писал уже, у старшей маминой сестры было четверо детей, муж ее, агроном Петр Крамаренко, погиб в годы гражданской войны. Старшая – Муся – профессор в Ленинградском институте им. Герцена. Ее муж художник, сын – Валя Невельштейн. Давно ничего о них не ведаю. Вторая сестра, Рая, тоже была замужем за художником Сашей Булгаковым – у них трое детей: Дина, Саша и Ася, мои двоюродные племянники. Динка всего на два года моложе... Пережили блокаду в Ленинграде, Саша погиб при обороне города. С Булгаковыми мы были близки в пятидесятые-шестидесятые годы: Рая с детьми, а потом и внуками жила у нас на даче в Крюково. После очень помогла мне, когда осталась у меня на руках больная старая мать – приехала, жила с ней, а потом увезла к себе, в Ленинград, поменяв на ленинградскую

квартиру ее московскую комнату. И похоронила маму в Питере. Умерла мама в ночь с 31 декабря 1972 на 1 января 1973 – на восемьдесят шестом году жизни.

Младшая дочь тети Насти, Анька, выскочила замуж очень рано – едва шестнадцать ей стукнуло. Она ровесница моей Миррке, учились в одном классе. У Ани двое детей: Алик и Дина (как и у Раи – в честь бабушки). Не встречался очень давно. Дина ее еще бывала у меня в Москве в середине шестидесятых, а потом потерял я их из виду. Жили они в Минске. Фамилия им – Мусарские, отец – полковник отставной, Мося – Моисей. С Раей иногда переписываемся, но давно не виделись. Ей уже за семь десятков.

Теперь о родных, или, вернее, единокровных сестрах – Музе и Мирре. Росли они в Херсоне. Мы ежелетне встречались. Я их любил и гордился тем, какие у меня красивые сестры. Самые красивые! Герасимовы «Архиповичи» в основном шатенистые, «Савельевичи» – блондинистые. Мы с Миррой в отца, а Муза русая, с огромной золотой косищей. Между прочим, дядя Афоня был рыжеватым. Старшая сестра в моем отрочестве была для меня олицетворением греческой музыки, когда узнал я об Аполлоновых спутницах: прямой ото лба нос, огромные серо-голубые глаза, какая-то особенная стать, вероятно, от тяжелой косы, венчавшей голову, белейшая кожа. Помню ее фотографию – сидит па стуле и видно только лицо, все остальное, до самого пола, в волнах золотых волос. Она, пожалуй, первая женщина, которую

я, мальчишкой лет восьми, увидел обнаженной. Валялся на ковре у окна в их большой комнате, читал, как сейчас помню, – «Принца и нищего», обо мне все забыли, чего-то там шебуршили, я и внимания не обращал, слышу вдруг, вода плещется, поднял глаза – стоит Муза в большой оцинкованной лохани, поливает себя из кувшина. Жара. Юг. И ни она, ни я не смутились. Увидела меня, улыбнулась и только сказала: «А ну, брысь, братишка!» И я пулей – из комнаты. Потом, когда читал рассказ Горького «Женщина» – перед глазами, как образец прекрасного обнаженного женского тела, которым без стыда можно любоваться, возникал у меня в памяти образ сестры. После десятилетки она приехала в Москву, поступила в медицинский, жила поначалу у нас, на Никольской, потом ее определили на постой к папиному и маминому приятелю, писателю Гавриилу Добржинскому, революционеру, ослепшему после ранения в баррикадных боях 1905 года. У него была квартира в районе нынешней улицы Калинина, возле Арбата, где жил он со своей женой и секретаршей тетей Шурой. После войны они получили жилье в одном из новопостроенных домов на улице Горького, в корпусе «Б». Гавриил Валерьянович, вероятно, еще появится на страницах моих воспоминаний, ибо сыграл какую-то роль в моей жизни. Ему принадлежит известная пьеса о Пугачеве, роман о нем же, брошюрки-раешники, которые в предвоенные годы частенько с дарственными надписями появлялись в нашем доме. Автор – Добржинский-Диез. По малолетству

и неведению я считал, что он пишет вместе с соавтором, каким-то «Диезом».

Окончив мединститут, Муза уехала по распределению в Магадан, куда многие в те годы отправлялись не по доброй воле. Там она вышла замуж за Бориса Штерензона, инженера-горняка, возглавлявшего золотые прииски. Кажется, был он главным инженером Магаданзолота. Скольکو, вероятно, человеческих трагедий, мерзостей лагерного бытия хранила его память, ведь добывали металл зеки. В начале войны Муза родила сына Игоря. И уже в Москве, осенью сорок пятого, – второго сына, Виктора. С Виктором мы довольно близки, бывая в Москве, племянш обязательно навещает нас – живут они в Днепропетровске. Иногда звонят оттуда. Как же переживал этот чистый парень, когда вынужден был идти на компромисс с собственной совестью: фамилия Штерензон не дала ему возможности учиться в аспирантуре, всячески прижимали молодого инженера и на работе. А он в Музу – русский, сероглазый. Умница и деятельный человек. Пришлось менять фамилию на материнскую – Герасимов. А ведь Борис Штерензон был из тех отцов, которыми должно гордиться: комсомолец двадцатых, талантливый инженер, отличный работник. В пятидесятые годы был директором горно-обогачительного комбината. Настоящий. Умер – еще и пятидесяти не было. «Сгорел». И сыну, любившему и уважавшему его, приходилось как бы отречься от отца. Наши правоверные расисты, деятели отделов кадров, вникали

только в анкетные данные. Впрочем, перемена фамилии не повлияла на его карьеру. Еще в годы застоя Виктор, писавший стихи, интересовавшийся литературой, страстный поклонник Высоцкого, – ушел в «индивидуальную трудовую деятельность», сколотил какую-то маленькую артель, зарабатывал деньги, как он говорил. Имел даже неприятности, но, слава богу, криминала в его деяниях не обнаружили. Только прикрыли лавочку. Но, думаю, наше производство потеряло в его лице дельного инженера с явной изобретательской жилкой, мыслящего и инициативного. Ныне ему живется куда легче, однако на завод его уже не вернешь.

Младшая сестра Мирра – веселая и добрая хохотушка-хохлушка – по стопам старшей тоже приехала в Москву, учиться. Сначала жила у нас, потом, когда отец уехал в поселок Дзержинского, – с ним. Там, в бывшем Николо-Угрешском монастыре, где за десяток лет до этого организовалась Люберецкая трудкоммуна, был ВТУЗ. Поступила Миррка туда, но вскоре перевелась в Стоматологический институт в Москву. Кончить не успела – выскочила замуж за томилинского парня (есть такая станция под Москвой, Томилино, по той же, что и Люберцы – Казанской железной дороге) Алексея Новикова, – военного учлета. Вместе на учебу в Москву в электричке мотались. Алексей кончил, получил лейтенанта и увез ее в сороковом году в Луцк, где стоял полк. Уже в сорок первом, в эвакуации, в Казани, родила она сына Алешку. Несчастливая судьба выпала на долю моей млад-

шей сестренки. Хотя, если на первый взгляд – куда с добром! Старший Алексей Новиков – один из кумиров моей юности, летчик-истребитель, Герой Советского Союза, внешне – прекрасный образец русского человека: крепко сбитый, сероглазый, русоволосый. Короче – плакаты с него писать. 27 немцев сшиб. С первого дня – в небе, войну кончил подполковником. Орденов, медалей – пруд пруди. Еще в сорок первом, когда в газетах печатались списки награжденных, позже-то их столько стало, что газетные листы не вмещали, мы нет-нет, да и находили среди других имен и имя Алексея Ивановича Новикова. В Москву мы с мамой вернулись из эвакуации раньше Миррки. Зимой сорок четвертого. Алексей часто бывал в Москве. В Томилино, к своим, ездить не всегда было с руки, – заходил к нам, на Никольскую. Таскал меня по концертам, театрам и ресторанам, – билеты, правда доставал я, он только «финансировал», а в коммерческие рестораны, которые к лету появились в Москве, у него была лимитная скидка – 75 %... Как-то привез мне с фронта трофейный вальтер с двумя обоймами, часы-штамповку, подарил. Широкий был человек, не жадный, веселый. Правда, несколько по-своему, по-армейски. Но не обидно. И хохотал от души. В своем месте, я, наверно, припомню пару случаев общения с ним по концу войны. Потом Мирра возвратилась, получили они комнату – маленькому Алеше четвертый год. Очень я любил первого своего племяша, не паренек – картинка. Бегал к ним на Вузовский переулок, гулял с Алеш-

кой, какие-то игрушки ему мастерил, игрался. А Новиков делал карьеру. Кому же еще было ее делать? Офицер, Герой, красавец. Вскоре после войны получил полковника, стал командиром дивизии, и, забрав семью, укатил на два года в оккупационную армию в Германию. Вернулся другим человеком. Нетерпимым, заносчивым и... алкашом. Без бутылки – за стол не садился. Вывез два вагона «трофеев» – очистил весь баронский особняк, где квартировал. Изменилось и его отношение ко мне и маме. Уже не свояк – младший братишка любимой жены, а какой-то бедный родственник да еще не очень желательных кровей. Антисемитизм, наличия которого я в Алексее раньше никогда не ощущал, расцвел махровым цветом – этакий непотребный, грубый. Так и перло из него. Уж чем там ему евреи насолили? У меня действительно жидовская кровушка наличествовала... А вот в Миррке и капельки не было. И назвали-то Миррой в честь Мировой революции. Но полковнику все казалось, что и от нее чесночным душком несет. И стала моя сестра – Мариной. На этой почве мы как-то с зятком и поспорили – я ее Миррой, а он: «Марина!» Слово за слово, и выдал я ему: на кой, мол, черт притащил ты из побежденной Германии два микроскопа, альбомы с марками, пять сервизов, какие-то толстенные книги на немецком и других языках с золотыми обрезами, не считая мебели, ковров и прочего?! В общем, обозвал его мародером. С тех пор наши дорожки разошлись. Последние сорок лет почти не виделись. Даже не звонил я лишний раз

Мирре-Марине, не желая нарваться на генерала, а он уже и генералом стал. Устраивал ей скандалы, если обнаруживал, что она со мной или мамой общается. У нее к тому времени еще один сын родился, Виктор. Его я почти не знаю, может, раза три и видел-то. А вот Алешу жалел, горько было, что не складывается у парня жизнь. Не доучился в медицинском, не стал офицером, хоть папаша и устраивал. Несколько лет работал телеоператором для какой-то американской телестудии, имевшей своего корреспондента в Москве. После похорон Мирры мы несколько сблизились. Очень Алеша горевал по матери, ненавидел отца, который не надолго пережил жену. Звонит Алеша редко. В душу к нему не лезу. А так вроде парень он честный, искренний. В мать. Жаль мне ее, доброй и славной была моя сестренка, готова была, как говорится, последнюю рубаху с себя снять ради ближнего. Невеселую жизнь она прожила.

Теперь несколько заключительных слов о самых близких: о папе и маме. Я уже немало о них поминал на предыдущих страницах, о тех двух людях, по милости которых явился на свет, о тех, чьи душевные движения, мысли, далее порой жесты, ощущаю в своем повседневном существовании. Ловлю себя: вот так подумал бы отец, а так – посмотрела бы мама... Их давно нет. Папа прожил шестьдесят два, мама – восемьдесят шесть. Хотя моложе его на три года.

Почти через двадцать лет после знакомства встретились они в Москве, где мама уже работала в статуправлении и

«имела жилплощадь» в Четвертом доме Советов – бывшей гостинице «Славянский базар», заселенной совслужащими. Папа, у которого возникли нелады с первой женой, уехал по делам в столицу, в одной из компаний херсонского землячества встретился с Таней Доктор. Как шутили они при мне, отец покорил маму тем, что умел «все-все делать своими руками» – укрепить расшатанную табуретку, починить электроштепсель, забить в стену гвоздь и т. п., а она его тем, что утром, не разжигая примуса на общей кухне, напоила гостя горячим чаем – с вечера укрыла вскипевший чайник пуховой подушкой. Ко времени моего появления отец стал уже заправским москвичом, восстановил связи со многими былыми друзьями и товарищами по подпольной работе – они занимали в тогдашней Москве крупные посты и помогли земляку. Определился как парттысячник в инженерно-строительный институт и году к тридцатому, закончив его, работал уже заместителем начальника строительства московского аэропорта на месте нынешнего спорткомплекса ЦСКА – ЦДСА. Под его же руководством возводился дом, где ныне выходы метростанции «Аэропортовская». Получал партмаксимум, что тоже являлось предметом шуточных пикировок моих родителей – мама, к тому времени начальник планового отдела Щепетильниковского трамдепо, получала больше. Впрочем, у отца была служебная машина, возившая его на работу и с работы – в те годы район нынешней «Аэропортовской» был чуть ли не на самой окраине. Я в том автомобиле

катался единственный раз – не с кем было почему-то меня оставить, и папа взял с собой на работу. Запомнилась поездка. Автомобиль. А так ездили на трамваях или, куда реже, на извозчиках, что тоже было большим удовольствием. Мама, кажется, так и не удостоилась чести прокатиться в служебной машине отца. С утра он заезжал кое за кем из сотрудников, а по вечерам в машину садились те, кому надо было ехать в центр... Все это помню я по разговорам и рассказам родителей. Очень в свободные их минуты любил требовать от них: «Расскажите, как я был маленьким?»

На этом, дорогие мои потомки и въедливые, терпеливые читатели, у кого хватило мужества прочитать предыдущее, очерк моей родословной заканчивается, и можно вплотную приступать к фактам собственной биографии. Все это я рассказывал для того, чтобы потомки мои не думали, что их деды и бабушки произошли непосредственно от обезьян, что и у них было в свою очередь множество предков, что много-много поколений жило на земле, прежде, чем появились на белый свет мальчишки, носящие фамилии Герасимовых и Радовых.

# Начало биографии

Москвич я с червоточинкой – родился в Херсоне. Первый ребенок у матери, а ей к сорока. Смелая. Однако рожать меня все-таки поехала на родину, к детным сестрам. Через два месяца вернулись мы домой. Но метрику получил на двух языках – русском и украинском, и местом рождения указан Херсон. Южный город на берегу Днепра. По-украински я Юрко Павлович, по-русски соответственно – Георгий Павлович. Отсюда детское – Юра, Юрка. Отец называл Юрко. Фамилия, как тогда было модно, двойная: Доктор-Герасимов. В доме и первых классах школы – Юрка Доктор-Герасимов. Только уже в старших классах окончательно определился – Георгий Герасимов, в просторечии – Егор. Первый паспорт и все последующие документы называют именно так. Но место рождения Херсон, Украинская ССР.

До войны в семье у нас каждую осень и зиму гости с Украины: родственники, друзья, бывшие папины ученики с Броваров, Серогоз, Голой пристани, Алешек, Скадовска, Каховки... Сейчас люди порастеряли эти связи, землячество. А в те годы все еще держалось крепко. И переписывались, и гостевали друг у друга, и помогали друг другу в тяжелые моменты, поддерживали. А кроме того, московские родственники, что могли приютить, какой-никакой кров обеспечить – ценились высоко. Гостиниц-то и ныне не густо, а уж в то

время... В Москву стремились и прибахрахлахтхся, и в театрах побывахтх. Одно слово – столица. Комната у нас была огромная, постоянно года с тридцать шестого жили только трое: я, мама, и няня – папа приезжал лишь на выходные. Его диван, раскладушка, да пара всегда в боевой готовности матрацев могли дать ночлег двум-трем не шибко притязательным людям. И несмотря на грозные объявления, развешанные по всем стенам, о правилах проживания посторонних не свыше двадцати четырех часов без прописки, никто на них внимания не обращал. И у соседей в большом гостиничном коридоре тоже постоянно кто-то жил. А летом мы ежегодно на Украину – в папин или мамин отпуск. До самой войны. А иногда, когда был я поменьше, кто-то из дядьев и теток, бывало, забирал племяша к себе на все лето. Хотя родители почти всегда снимали дачу в Подмосковье, а в тридцать девятом можно было уже жить на своей собственной, в Крюково. Как я уже говорил, у своих родителей я ребенок поздний. У моих двоюродных дети – мне ровесники. Двоюродные племянники. Постоянное общение с ними, житье в стихии украинского языка и в Херсоне, и зачастую дома, – дает мне право считать украинский – родным. Этот язык – язык теплого солнца, раздольного Днепра, первой щуки, пойманной мною в четыре с половиной года с помощью дяди-Володиного Саши, язык ласковый, благозвучный, песенный – всегда во мне. Никогда специально не изучал его – написать грамотно по-украински, пожалуй, не сумею, но прочту всегда, и

стоит лишь заслышать эту мову, как зазвелят в душе ответные струны. Уже шесть десятков лет человеку, всю жизнь – русский, всю сознательную жизнь – по-русски. И профессия в некотором роде – русский язык: актер, журналист, переводчик. И очень я люблю его, свой русский язык, какую хочешь мысль на нем выразить можно, и нежным, и гневным, и емким может он быть, богат неимоверно, столько речений вместил в себя, столько точных и глубоких слов, мудрости народной. А столкнешься невзначай со «щи-рым украинцем» – и пошел «гэкать», «розмовляты на ридной мове». После такой встречи, пусть и мимолетной, иной раз целую неделю лезут в мое чисто московское произношение, усиленное еще занятиями по орфоэпии в театральной студии, украинизмы. Ничего не поделаешь – первая любовь, первые слова: «тату, мамо...» Сам себя во младенчестве называл по рассказам, «нынку» – от обращения ко мне родителей «сынку». И первые яркие впечатления, сохранившиеся в памяти, – не московское жительство, а летние украинские дни. Из московских лишь какие-то из ряда вон выходящие ситуации, к примеру – магазин-распределитель в Зарядье. Это, значит, еще карточная система, мы прикреплены. Вероятно, год 1932. От нашей Никольской улицы не слишком далеко: сначала в сторону Красной площади, потом по Старопанскому переулку, через улицу Варварку и вниз, к Зарядью. Очередь. Мы с няней Шурой толчемся возле входа. Заговорила моя няня с какой-то подружкой. Скукота. Пошел домой. Комната заперта.

Родители на работе. Но друзей и знакомых на всех пяти этажах нашего огромного дома – пруд пруди. Лестницы, переходы, коридоры и двери, двери... Сажу и играю у Левы-Бори (братья-близнецы с третьего этажа. Постарше меня. Один из них потом погиб на фронте. Мама дружила с их матерью. Меня в той семье любили), слышу истошный крик из коридора: «Юрик, Юрик!». Выглядываю. На няне Шуре лица нет, щеки красные, глаза зареванные. Схватила, прижала, плачет. А тут мама бежит, соседи. Ну и задал я им всем, как нынче говорят, шороху! Хватилась меня Шура – нету мальчика. Туда, сюда – нету! И никто не видел, куда делся. Украли?! Прибежала домой – нету! Звонит маме – пропал сын. Паника. Мама тогда уже работала в Щепетильниковском трамдепо, на Лесной улице. Полетела домой. Сообщили в милицию – исчез ребенок. Весь огромный дом перебулгачили. А я – вот он. Жив-здоров. Даже не попало мне на радостях. Как же ты шел? А так: посмотрю туда, посмотрю сюда: нету ли трамвая, машины или извозчика, и бегу через улицу... Этот мой «подвиг» довольно долго обсуждался и вспоминался в семье, потому, наверно, и запомнился. По всему выходит, года четыре мне тогда было.

Или вот еще такой эпизод помню: как крестили меня. Тогда, замыкая Никольскую, перед Лубянской (ныне площадь Дзержинского) были ворота, а возле них, на пустом теперь пяточке, напротив известного всему Союзу «Детского мира», рядом с будущей станцией метро «Дзержинская», стоя-

ла Никольская церковь. Шура хаживала туда. И меня таскала. Очень она меня любила и потому страдала, что такой замечательный ребенок – и «нехристь». Вдруг что случится, и попадет невинная душа в ад?.. Даже обсуждался этот вопрос дома. Родители посмеивались: отец – партиец, мама – бес-тужевка, оба убежденные атеисты. Ну и сам факт общения с церковью мог принести в те годы неприятности. Тогда за это строго спрашивали. Вот Шура и внушила мне: никому не говори. Головку тебе водичкой помажут, попоет что-то ба-тюшка – и все. Не бойся. И крестные у тебя будут и крестик, как у людей. Нашла каких-то знакомых. Я их не помню, хотя несколько раз заходили к нам днем, даже конфетки мне приносили. Короче говоря, шила в мешке не утаишь. Чуть не в тот же вечер похвастал я родителям, что бородатый дя-денька на меня водой брызгал в церкви. Слово за слово – все и открылось. Шуру не ругали, только смеялись над ее «тем-нотой». А она успокоилась за меня.

Не могу удержаться и не рассказать немного о Шуре – все детство остававшейся моим верным другом, заботливой ня-ней, старшей сестрой. Неграмотная девчушка из подмосков-ной крестьянской семьи, приехала она в Москву к родствен-никам – нашим соседям Капицыным – Степану Харлампие-вичу и Марии Ивановне. В деревне – невоготу, а в Москве по малолетству ни на какую работу не берут. Помыкалась, помыкалась – хоть бы в домработницы, а и в домработни-цы нельзя, группком не велит, слишком молодая, ей тогда лет

тринадцать всего. Что делать? Обратно в деревню ехать – у отца семь ртов, а и за эксплуатацию малолетней могли быть неприятности. Все-таки мои родители решились, взяли в семью на правах приемной дочери, года три без прописки жила. Все это по ее позднейшим рассказам знаю. И о голоде в деревне – шел тридцать третий год, и о том, что группком не брал – были тогда в домоуправлениях такие организации домработниц – профсоюз. Мне уже четвертый год шел, она на десяток лет старше, но читать учились на пару. Папа погнал ее в вечернюю школу. Она долго отбрыкивалась. В первом-втором классе по два года сидела. Родители настаивали, помогали. Взясась Шура за ум, когда и мне пришло время учиться. Я в первом, она в третьем. Организовали мы «взаимопомощь» – втайне от родителей – математика ей не давалась, а я был развитой ребенок, все ее учебники лет с пяти читал, географию там, ботанику, арифметику. Почерк у нее был хороший, а вот у меня... Так мы скооперировались: я за нее задачки решал, а она мои домашние задания по чистописанию выводила. Всякие палочки и крючочки вырисовывала. Так и учились, пока Шура не начала сама соображать. Живя у нас, закончила семилетку, пошла в техникум, в общежитие переехала. Но бывала еженедельно. Перед самой войной замуж выскочила, хорошо помню ее Петю – курсанта, потом лейтенанта. Уехали они куда-то. Объявилась у нас Шура уже после войны, году, дай бог память, в сорок седьмом. Из Германии они с Петей явились. Он уже подполков-

ник, служил в оккупационных войсках. Не чета моему Алексею Новикову, но тоже не без орденов и медалей. Шура – гранд-дама, прическа по последней моде – «спереди танк, сзади авоська» – надо лбом кок, а волосы на затылке в сеточку убраны. Комнату им в Москве дали. Двое детишек уже. Наташила мне Шура всяких одежек, белья, маму одела. Мы в те годы жили скудно. Папа умер, комнату нашу на Никольской отобрали, я уже учился, стипендия двести рублей, правда, карточка рабочая да еще Р-4 – обеспеченный обед. Жили в основном на мамину зарплату, накоплений у нас никаких. Она вновь работала в Мострамвае, но уже в Управлении, на Раушской набережной, в отделе труда и зарплаты. Не голодали, как в войну, но с одеждой было туго. Я в престижном месте учусь – школа-студия при Вахтанговском театре, там у нас такие фифы, такие парни – генеральские дети, актерские отпрыски... Со мной на курсе Дарья Пешкова – внучка Алексея Максимовича, Алла Потатосова, будущая жена Астангова, Левка Берлин – сын генерала, и прочая, и прочая. А у меня туалеты – едва срам прикрыть можно. А ведь и в сад Эрмитаж бегал, и в модный тогда коктейль-холл на улице Горького заглядывал. Надо держать марку! Посылки тогда слали из Америки – старое барахло советским детям – помощь. Досталась мне синяя курточка чертовой кожи, с воротником-капюшоном. Узковата, но шик-модерн! Нашил на нее какие-то невероятные пуговицы... Ботинки на деревянном ходу купил, зубной пастой их красил, брюки-клевш тоже

на толкучке приобрел... Ну да об этом в свое время, сейчас о Шуре. Уже после армии донашивал я клетчатое демисезонное пальтецо, которое подарила она мне, вернувшись из Германии.

Очень многое в моем детстве с ней связано. Если жива – ей теперь за семьдесят. Давно ничего не знаю. И фамилии не помню. Шура и Шура. А вот отчество – Ивановна. Александра Ивановна. Это точно. Потому что знал и помню ее отца, дедушку Ивана. И он к нам в Москву наезжал, и я у них в деревне пару раз гостевал вместе с Шурой еще до школы. Году в тридцать четвертом, пожалуй. В ночное ездил вместе с младшими Шуриными братьями, сено ворошил, полол огород по силам. С того времени живет в душе неизбывная жалость и любовь к лошадям, к их теплomu дыханию, большим добрым глазам, к запаху лошадиного пота. И запрягать, и править, и верхом ездить тогда учился. Не все, конечно, умел, но для горожанина был достаточно подкован, когда в годы войны довелось иметь дело с гужевым транспортом – лицом в грязь перед местными не ударил, не то что мои одноклассники – москвичи и ленинградцы. И пахал, и на косилке работал, и телегу мне доверяли. Все, как заправский сельский паренек, делал. Не прошли даром те летние деревенские дни у деда Ивана, да еще жительство в Валентиновке, на строительстве дачного поселка, которым руководил отец. Не отходил я от возчиков и лошадей.

В деревне у Шуры случилось со мной как-то несчастье,

запомнил крепко: разворошили старшие ребята гнездо то ли ос, то ли диких пчел, кинулись бежать. Я последний, по мне и пришелся их мстительный акт. Искусали вусмерть – помню, как на бегу смазывал ладонями жалящих лицо и плечи разъяренных летающих бестий. Потом весь в шишках от укусов, чуть ли не в горячке, лежал на холодных простынях, и дед Иван притащил с огорода большой огурец, чтобы прикладывал я его к ужаленным местам. Полегчало. У деда был свой пчельник, несколько ульев. Помню, как качали мед, помню вкус свежих сот.

Связан с теми моими впечатлениями и приобщениями к жизни еще один забавный эпизод. После того, как весной и в начале лета пожил я на стройке у отца, поехали мы с мамой в отпуск, в Херсон. Большая комната папиной тети Насти на Форштадте – или на Военной, как называли в Херсоне одну из окраин. Мамины сестры жили в центре, на улице Карла Маркса, возле Суворовского бульвара с фонтаном. Только мы приехали, собрались у тети Насти, – и мамины родные, и папины: дядья, тетки, двоюродные, приятели, – гости из Москвы прибыли... Сидят они за столом, а я уже вылез, соорудил из подручных средств – ведер, табуретов, стула – телегу, приладил веревочные вожжи и погоняю, как наслышан от валентиновских возчиков-грабарей. Застолье постепенно стихает. Наконец – гробовое молчание и в нем лишь мои выкрики: «Но, холява! Но... твою мать! Но!» Вот вам и столичный племянничек! Грамотей, газеты читает... Кинулась

ко мне мама. «Сейчас же замолчи!» А что я такого делаю? Играю. Хорошо, дядя Володя подхватил на руки, выволок во двор, объяснил, что нельзя говорить плохих слов, «черных». Даже растолковал, что они означают. Но почему «плохие», я же их от хороших, добрых людей слышал?.. И еще, раз уж зашла об этом предмете речь. Летом сорок второго, в зауральской эвакуации, когда наш класс послали из райцентра – села Куртамыш – в один из соседних колхозов обмолачивать оставшиеся в поле прошлогодние скирды с хлебом, у огромного зарода – локомотив, молотилка, ручная веялка, два-три инвалида – и мы, тридцать «вакулированных» с вилами и лопатами деревянными. Транспорт – две грабарки с впряженными в каждую парой волов. Я над своими – старший. Староста класса. Задача – возить зерно с поля на колхозный ток. Километра два. Рвем вилами слежавшуюся, прелую, кое-где уже проросшую солому, кидаем в ненасытный зев молотилки. Кто послабее – на веялке, а уж совсем не способные к физическому труду – возчиками на грабарках, здоровых ящиках на колесах, куда грузим отвеянное зерно. Приказано за день обработать весь скирд – метров двадцать длиной, пять шириной и четыре, не меньше, в высоту. Завтра молотилку перебросят к новому скирду. На одной из грабарок москвичка Света Визирова – тоненькая, славная девушка, с толстой косой, интеллигентная такая, много стихов знает. Мне она нравилась. Часа два, как отправили мы ее на ток, а ее все нет и нет. На широкой ряднине возле веял-

ки уже изрядная гора зерна. Давно пора грузить. Хоть останавливай работу – не сыпать же на прошлогоднюю стерню: не подберешь. Решил сбегать в деревню. Где-то на полпути услышал мат. Тоненький голосок вперемежку со всхлипами выкрикивал всякие непотребства. За кустами, на повороте дороги, съехавшая с колея грабарка. Два вола в ярме щиплют травку, вокруг них с прутом в руках бегает Светка и костерит их, на чем свет стоит. Они – ноль внимания. Увидела меня – залилась краской. Глаза зареванные. «Не идут, и все тут! Никаких цоб-цобе не слушают...» – и смущенно объясняет – тянут к обочине и никакой палки не боятся. Лупи не лупи. Спасибо дяденька один еще на току посоветовал: ты, мол, их так и этак шугани. Пойдут. Приучены. Вот я и...» Смеху потом было!..

Все, что выше, так сказать, все-таки «доисторический» мой период, исторический, с причинами и следствиями, начинается с тридцать четвертого, когда я уже всюю читал. Научился сперва читать вверх ногами и справа налево. Отец, приходя вечерами с работы, распластывал на столе газету, а я, устроившись напротив, тыкал пальцем и вопрошал: «А это какая буква? А эта?» Так и привык было. Правда, родители вскоре заметили, что все время верчу книжку – посмотрю картинку и переверачиваю, чтобы прочесть текст. Переучили. А писать начал латинскими буквами. Года два ходил зимами в немецкую группу – были тогда в Москве такие группы: какие-то старушки из «бывших» собирали десяток

дошколят и возились с ними целый день, гуляли, кормили обедом, даже спать укладывали. Родители забрасывали нас к ним до работы, а вечерами разбирали. Этаким частный детский сад с языковым уклоном. Мне достались две старушки-немки. Годам к семи болтал я по-немецки на бытовом уровне и писал латинскими буквами. Даже русские слова, хотя читал по-русски. Немецкий впрок не пошел. К пятому классу, когда начали изучать немецкий в школе, кое-что еще помнил. Так и проехал всю среднюю школу на дошкольном багаже. Не учил, не читал, но исправно получал свои пятерки. Еще бы – кто другой в классе мог понять, что говорит учительница?! И даже – ответить по-немецки. Большой редкостью было такое тогда. Язык иностранный – в страшном забросе. Уж какую цель преследовало это лжеобучение? Верно, не хотели, чтобы кто-то умел калякать на чужом языке, – верная подмога шпионам?! Кое-что из грамматики да «эс лебе геноссе Сталин!» – и достаточно. Так что язык ушел. Напрочь. Иногда вдруг всплывают какие-то отдельные слова, фразы, или становится понятной прочитанная этикетка. И всё. Во всем этом есть еще и психологический нюанс. Тогда же, в раннем детстве, политически подкованный пацан заявил родителям: фашистский язык. Учить его не желаю! Категорически. И не стал ходить в группу. Несколько уроков пыталась дать нам давняя мамина приятельница тетя Тамара. Нам – это мне и приятелю моему Володе Соколову, известному ныне поэту, с которым выросли мы в одном доме

и дружили с пеленок до юности. Помню, как в знак протеста стреляли из резинки, надетой на пальцы, «козюльками» – туго свернутыми бумажками – по черной тарелке радиоре-продуктора, висевшего на стене над головой тети Тамары. Она вздрагивала от резких щелчков, не понимала, что происходит. Так и не удалось маме сделать из меня полиглота. В театральной студии изучал уже французский, правда, тоже несерьезно. Научился лишь шикарно грассировать и вообще произносить французские фразы с роскошным прононсом. Преподавательница Ада Владимировна млела от моего произношения и ставила пятерки. И в МГУ французский сдавал. К тому времени работал уже в редакции, бегал к нашим французам, даже «Юманите» почитывал. Они очень меня поощряли. Но, сдав положенные тысячи знаков и получив в зачетке нужную отметку, – забросил... Не было времени и стимула. А вот украинский – навсегда в сердце. И одна из любимейших книг, наряду с пушкинскими стихами, шевченковский Кобзарь. И Леся Украинка. И вот уже три десятка лет – томик литовского соловья – Саломеи Нерис. Но о своем по-роднении с литовским расскажу в ином месте. И вот ведь парадокс: три десятка лет занимаюсь переводами с литовского, говорю скверно, каждую фразу мысленно перевожу с русского, а при чтении – на русский. А вот украинский – самопонятен, но переводить с него органически не могу! Он во мне так же, как русский: читаю, Киев слушаю, с украинцем беседую – не перевожу на русский. Принимаю, как

данность. А пробуешь перевести – слащаво, сентиментально, недостоверно. Сам по себе украинский такого впечатления не оставляет. Нежность, ласковость – его суть, не мешает, не претит, как слащавость в русском. Вот и не смею. Больно уж близки и такие разные эти мои родные языки. Кстати, благодаря украинскому, сербскому и церковнославянскому, которые пробовал учить в первые послевоенные годы, зачем, расскажу позже, я довольно быстро научился понимать на слух польский, когда пришел работать в «Советскую литературу» и несколько лет сидел в одной комнате с польской редакцией. По сие время могу слушать Варшаву. Очень богат мир славянских языков, разнообразен, разнозвучен, но стоит привыкнуть к огласовке, строю, ударениям одного из них, и из массы непонятного начинают выплывать, вылупляться общие корни, и уже значимые слова сами собой складываются во все более ясную тебе речь, обретают смысл. Чуждое становится близким. Жаль, что так и не выбрал времени основательнее заняться этими языками. Раньше все недосуг было, а теперь – поезд ушел. Не так восприимчив мозг, медленнее схватывает, труднее запасаает. Ленивее передают информацию нервные волокна. Всему свое время. Вон у младшей дочери литовский – как родной. С раннего детства слышала, в Литву с нами ездила, вместе с литовскими ребятами играла. Теперь и говорит, и пишет, и переводит с него. И английский у нее с детства, и немецкий по собственной инициативе ухватила, начатки шведского, французско-

го, латыни. Жена у меня по образованию германистка, одно время преподавала язык. Когда Анке стукнуло лет двенадцать (она в английской школе училась), стала заниматься с ней немецким и удивлялась: такое впечатление, что та не новый язык усваивает, а вспоминает нечто хорошо знакомое, позабытое... Способная девка! У нас в стране сегодня какая-то чертовщина с национальными языками. Объявляем государственными, требуем, чтобы изучали. А ведь сколько лет вольно или невольно русифицировали, загоняли национальные языки в быт, в семью. Шовинизм? Да нет, в массе – просто лень и убеждение, что тебя и по-русски везде поймут. Синдром большого народа. В Литве многие мои ровесники (меня это просто поразило, когда я впервые попал туда в начале шестидесятых) знали литовский, русский, польский, немецкий, еврейский. И не какие-то там интеллектуалы-полиглоты, – самые обыкновенные продавцы, официанты, горничные в гостиницах. А уж об интеллигенции литовской и говорить нечего, кто-то учился в Германии, Бельгии, Англии (в годы независимости Литвы). Маленькому народу, ценившему свой родной, необходимы были и чужие – для дела, для овладения культурой. Нам, высокомерным русским людям, все на блюде с голубой каемочкой подносят: переводчики в поте лица работают, а живой чужой язык не нужен – сквозь пресловутый железный занавес просачивались лишь единицы. Так зачем голову себе ломать, утруждаться? А литовцы не ленились, овладевали, пусть и

на бытовом уровне. Это же позор, что тысячи и тысячи моих единоплеменников, четыре десятка лет прожившие в Вильнюсе, в литовской языковой стихии, – куска хлеба, стакана воды себе на языке литовца попросить не могут. Да еще обижаются, что ныне от них это требуют. Ну разве не стыдно?

## Ладно, читай!

Дальнейшее возникает в памяти все последовательнее и большими блоками. Надо ужесточить отбор, чтобы не погрязнуть в тысячах мелочей, теснящихся в голове. Вот, скажем, газета. Читал уже и о челюскинской эпопее, и об убийстве Кирова, и о войне в Абиссинии. Для меня все это не история – факты моей жизни. Перед глазами до сих пор некоторые иллюстрации из тогдашних газет: бородатый Шмидт, которому на льдине, чтобы он умылся, сливают из ковшика, абиссинский воин, в перерыве между боями отдыхающий, сидя на древке копья, как мальчишка верхом на палочке, большой, во всю ширину листа, утопающий в цветах гроб на наклонном возвышении... И горе домашних: «Киров... Киров...» Вот так, через этот трагический гроб, через книжку «Мальчик из Уржума», фильм «Великий гражданин», через обещание Хрущева съезду партии расследовать обстоятельства убийства Кирова, действительные его причины, до недавно прочитанных «Детей Арбата» – пятьдесят пять лет длится в душе горькая судьба Сергея Мироновича. Французы говорят – шерше ля фам – ищи женщину, ищи, кому выгодно. Что уж тут таинственного? Еще тогда, в конце тридцать четвертого, ни у кого не было сомнений, кому нужна была его смерть. А мы до сего времени шипим: доказательств нет, не пойман – не вор. Полноте! У нас еще тогда

в доме говорили: настоящий революционер, настоящий коммунист. И как теперь выясняется – апологет своего убийцы – Сталина... Первая в жизни понятная трагедия. Сколько еще таких трагедий ляжет на душу, рассечет сердце...

Боль Испании. Тоже навсегда с тех, детских лет. Сьерра де Гвадаррама, Теру-эль, Гвадалахара, Мадрид, интербригадовцы, испанские дети... А Димитров? Разве забудешь? Разве забудешь, как на твоих глазах – мальчишки, забравшегося под рояль – два далеко уже не молодых человека (отец и дядя Афанасий) жаловались со слезами на свои райкомы. Ругаются и плачут – просились в Испанию, а их не пустили. Стары. «Да как же это? Там же дети гибнут! Там же фашисты...» Не забудешь. И тоже – на всю жизнь рана. Много спустя – в «Советской литературе» – там есть и испанская редакция. В пятидесятые годы в ней еще работали эмигранты-республиканцы. А возглавлял редакцию известный поэт-коммунист Сесар Арконада, друг и сподвижник Гарсия Лорки, Рафаэля Альберти. Борцы Испании, первыми попавшие в мясорубку фашизма: Мария Кановас, Хосе Сантакреу, Висенто Эстебан Санчес... Господи, какими же восторженными, обожающими глазами смотрел я на этих легендарных людей, как любил их, как верил им! А ведь уже не молоденький – тридцатилетний, прошедший через горнило XX съезда, разоблачение нашего фюрера... Сесар, Хосе Сантакреу, Эстебан – много старше меня, а вот Хосе Наварра – едва лет на пять. Офицер Голубой дивизии, перешедший фронт, во-

евавший с гитлеровцами в рядах нашей армии. Франкисты заочно приговорили его к смертной казни, как дезертира и изменника. А он страстно любил родину и при первой же возможности, еще при жизни каудильо, поехал туда, не страшась возможного ареста и даже смерти. Горжусь тем, что он считал меня другом, много рассказывал и о войне, и об Испании. Хосе Наварра. Чернявый, небольшого росточка, с горящими глазами. Веселый и честный. Все редакцией провожали его, когда он, один из первых, собрался в Испанию. Там была объявлена амнистия, и эмигранты-республиканцы потянулись на родину, которую многие покинули два десятка лет назад. Поначалу Хосе на родину не пустили, не разрешили сойти на испанский берег – приговор суда оставался в силе, он ведь формально был «предателем», а не участником гражданской войны. Но Хосе не смирился, поселился во Франции и чуть ли не нелегально пробрался домой. Еще были живы мать и сестры. Его арестовали. И только после смерти Франко получил он права испанского гражданина. Не приняла Испания и журналиста – многолетнего сотрудника «Советской литературы», а прежде – испанских республиканских газет, коммуниста Санчеса Винсенте Эстебана. Красавец, любимец наших женщин – большой, седовласый, громогласный жизнелюб, прекрасный переводчик. Ему тоже не дали сойти на берег. Жил во Франции, ждал разрешения. Не только этих людей я знал, но и их семьи, их детей. Вот к примеру – Кармен Сантакреу, девочка-пионерка в том лаге-

ре, где мне довелось какое-то время быть старшим пионервожатым. Она – дочь Хосе Сантакреу, руководившего после смерти Арконады испанской редакцией журнала. Умница, с ярким общественным темпераментом, родившаяся и выросшая в нашей стране. Как говорится, заводная – любое поручение по плечу, безотказная: газету выпускать, самодеятельность готовить, поход организовывать. Помню ее и комсомолкой. Великолепно владела эта девчушка и русским, и своим родным испанским. В начале шестидесятых уехала с отцом на родину. Когда по нашему телевидению показывают репортажи из Испании, все смотрю – не появится ли на экране знакомое лицо. И то, что сегодняшняя Испания нам друг, считаю следствием многих нашедших у нас в стране вторую родину республиканцев и их детей. Они не могут быть врагами СССР, хотя им, как и нам, частенько приходилось несладко, и многие мерзости сталинщины они ощущали на себе.

Не могу забыть седую, всю в черном старую женщину, которая сидела сгорбившись на стуле в малом зале Центрального дома литераторов в Москве, когда мы хоронили Сесара Арконаду. Легендарная Пассионария. Долорес Ибаррури – одна из героинь моего отрочества, да и всей последующей жизни.

Думаю, что до смерти будет жить в сердце тот юношеский, пусть наивный, но искренний вопрос, которым определялась сущность человека, его верность идеалам революции и интернационализма: готов ли ты отдать жизнь ради спасения

испанского ребенка? – это до войны. После нее – греческого. И ответ самому себе, восторженному и не нюхавшему пороха – ДА! Что ж, яблоко от яблони недалеко падает. И нечего цинизмом и неверием, грехами и преступлениями подлецов, определявших жизнь страны, зачеркивать то великое и гуманное, что воспитали в нас отцы. Хочу, чтобы и мои внуки смогли так ответить себе на этот вопрос.

Газеты вошли в мою жизнь рано. А книги? Вспоминаю себя в постели, зарезанного: мама на сон грядущий читает мне «Мцыри». В семье любили Шевченко, Некрасова. Еще малышом полюбил «Сашу», «Русских женщин». С тех времен и «Арина – мать солдатская», и «Муза», и «Парадный подъезд». И, конечно, Пушкин. Сначала сказки, «Руслан и Людмила». А уже в войну, в восьмом классе – на спор – всего «Евгения Онегина» наизусть. Из прозы – прежде всего наши классические «Детства» – Лев Толстой, Гаршин, Аксаков, Алексей Константинович Толстой, Горький, Свирский. Рядом и одновременно – Шолом Алейхем, Марк Твен и, конечно, Диккенс. И Оливер Твист, и Дэвид Копперфильд, и Николас Никльби, и Крошка Доррит. Господи, сколько слез пролито, сколько бессонных ночей. По общему мнению, современные дети стали читать меньше. Кино, телевидение, детективы, фантастика. Пожаловаться на своих дочерей не могу. Книгочейки. А вот как будет со внуками? Алешке уже семь, а еще ни одной книги самостоятельно не прочел. Умеет, очень любит слушать, но сам – не рвется. Ни одного мульт-

тика не пропустит, ни одной детской передачи. Книг – полно. Дед и баба постарались: и Анкину библиотеку сохранили, и для него впрок добывали. Конечно, знает он и Алису, и Пеппи, и Буратино, сколько времени я убил, читая ему про Тома Сойера, про Гека, про Тома Кенти, про Маугли, про Роберта Гранта... Одна надежда, что все у него впереди. Володька – внук от Маши – моложе Алеши на год, а читать любит. Анка-то с трех лет читала.

В моем детстве книга была менее доступна, чем для нынешних. Школьные библиотеки – бедные. Классика только начинала широко издаваться. Сколько книг сгорело в «буржуйках», погибло в очистительном пламени классовой ненависти темных людей к буржуа и интеллигенции. И в десять, и в двадцать лет не восполнишь тот урон, что нанесли книге за годы революции. В библиотеке нашей семьи, как и у многих наших знакомых – едва самое необходимое: томики Пушкина, несколько книг Толстого, Чехова, Горького, Ленинское собрание... У нас, правда, были полный Гюго, Шиллер, почему-то приложения к «Ниве» – Немирович-Данченко, Лажечников, Успенский. До сих пор в моей библиотеке, заполонившей квартиру, отцовский «Капитал» – 1-й том, и одна из любимейших книг моего детства – «Вольная русская поэзия», бесцензурно изданная в начале века Вл. Бонч-Бруевичем. Там и «Сакья Муни», и «Дон Кихот», и «Утес Стеньки Разина», и «Дубинушка», и Рылеев, и Полежаев, и Надсон, и безымянные песни революционеров, и «Буре-

вестник». Я не хвастаю, просто констатирую, вспоминая все то, что наложило отпечаток на формирование моего мировоззрения. Основы закладываются, по глубочайшему моему убеждению, именно с детства. И если не легли они в душу годам к шестнадцати – очень трудно воздвигнуть их, а легли – не выбьешь. Что касается чтения, то мне очень повезло: у отца был друг, наш же херсонец, дядя Ваня Василенко, если не ошибаюсь. Мы частенько встречались. А работал он заместителем директора ОГИЗа – что такое ОГИЗ, я тогда не знал, а вот книг у него была прорва – целая стена стеллажей, где не в один ряд, прикрытые простыми фанерными дверцами, стояли книги. Чего только не было там! Всё. И Жюль Верн, и Конан Дойль, и Мопассан, и... Ну кто из моих одноклассников мог тогда похвастать, что знает все рассказы о Шерлоке Холмсе, что читал не только «Трех мушкетеров», но и «Двадцать лет спустя», и «Виконта де Бражелона», и столь широко теперь распространившуюся за макулатуру «Королеву Марго», и «Черный тюльпан»? А такие шедевры, как «Квентин Дорвард», «Айвенго», «Ричард Львиное сердце»? И все это я читал, благодаря щедрости дяди Вани. Читал беспрерывно. Глотал страниц по двести-триста в день.

Вечер. Под матовым молочным абажуром – обеденный стол. Мне на ужин полагается молоко с хлебом. И пока ешь и пьешь, разрешается читать. Как же растягивал я эту дарованную мне милость – отщипывал крошки от целого бато-

на за рубль сорок – они тогда были белейшими, – едва смачивал губы молоком. В результате приканчивал чуть не целый батон и выдувал пол-литра молока. Только бы не загнали в постель. Одно время и в постели приспособился читать – накрывался с головой одеялом, зажигал электрофонарик. Иногда мою хитрость открывали, а иногда – сходило. Если книжка была предельно интересная, просыпался со светом и до вставания успевал проглотить десяток-другой страниц. Запойный, говорила няня Шура.

Вспоминаю один из первых дней в школе, куда я попал вопреки строгому правилу – «Только по достижении восьми лет». До заветного рубежа мне еще почти полгода. Весной, когда записывались в школу многие приятели, уговорил маму сходить со мной туда, попробовать. Отказали. Канючил до тех пор, пока не упросил отца – ведь сам учитель. Не выгорело. Родители смирились, а я не мог успокоиться.

В тот год вернулись мы с Украины где-то к концу сентября. Занятия в школе в полном разгаре, чуть не все приятели – там.

Короче говоря, отправился лично. Явился к директору. Только позже узнал, что ее боялась вся школа: строгая. Помню, звали Мария Михайловна. Большая, толстая, лицо крупное. Диалог мой с ней неоднократно повторялся дома, поэтому могу привести его:

– Чего тебе, мальчик? Ты из какого класса?

– Я ни из какого. И это несправедливо. Фальку Казачка

приняли, а он ни читать, ни писать не умеет... и в штаны писает.

– А ты?

– Я не писаюсь! С детства.

– Я не про то: читать-писать?

– Еще как! И считать до тысячи могу, даже больше.

– Ну-ну. И в какой бы ты класс хотел?

– В первый «Б»!

– Почему?

– А потому что там Ирка Мазина учится.

Ирка – из нашего коридора. Моя первая любовь. Пожалуй, все шесть лет до войны.

– А... Ну если Ирка Мазина...

Предложила мне что-то прочесть, усадила за лист бумаги – рисуй, – показала какую-то картинку – палочки, закорючки – убрала. Что запомнил, то и нарисуй. Нарисовал. И разрешила мне Мария Михайловна завтра утром приходить в первый «Б»! Горд я был чрезвычайно. Дома даже сразу не поверили. Все учебники, тетради, пенал, ручка-вставочка – еще давно заготовлены. И портфель тетя Аня подарила. Крепкий такой, синей кожи, вместительный. Утром чуть свет побежал в первый «Б». Учительница знакомая, тоже из нашего дома. И маму знала. Елизавета Абрамовна. Приняла, пересадила кого-то и, по моей просьбе, устроился я на одной парте с Ирой Мaziной. Учусь день, два, три... Мура. Скукота. Даже букв еще не пишут, какие-то палочки и крючки: нажим-во-

лосок. Откинул крышку парты, навалился на нее лбом, а на колени – книжку. Не учел, что с Ирккой на предыдущей перемене поссорились. Читаю.

– Лизаветабрамна! А Юра Герасимов взрослою книжку читает!

Всё! Пропал. Конец. Сейчас вытурят меня из класса и... прощай, школа. Похолодел от ужаса, руки-ноги отнялись. Сижу истуканом.

Елизавета Абрамовна подошла, взяла у меня с колен книжку, полистала:

– И что же ты читаешь, Юра? Жюль Верн, «Из пушки на луну»... Гм. Наверно, ничего не понимаешь?

И тут меня как прорвало, захлебываясь словами, принялся пересказывать приключения героев. И про пушку, и про заряд пороха, и про то, как сверлили в горе пушечное жерло... Снаряд, в снаряде трое людей! Бах – и полетели к Луне!..

Учительница послушала меня, послушала, положила книжку на парту и сказала:

– Ладно. Читай.

Таким образом не только весь первый класс, но во втором, третьем и четвертом я частенько беззастенчиво читал на ее занятиях. Не думайте, никаким особенным вундеркиндом не был. У нас в классе немало других отличников было, а я иногда и «посы» хватал. Учились рядом ребята отличные, развитые, куда умнее и усидчивее меня. Фелька Алексеев, Ленька

Дуб, Степа Мирский. И девочки – хоть куда. Только одна отличница, такая Маркина – тоже Ира, кажется, зубрила и ябеда. Класса до третьего тянула, а потом съехала. Забили мы ее. Класс был очень сильный... Если бы не война... Ленка из нашего дома, Фелька в «Метрополе» жил: из нашего двора к нему – раз плюнуть, соскользнешь в дыру китайгородской стены, куда полагалось лить смолу на головы нападающих врагов – и ты уже во дворе гостиницы «Метрополь». А Мирский вообще в школьном дворе жил. Он, я, Феликс Алексеев – головка класса: один редактор стенгазеты, другой староста класса, третий – председатель совета отряда, на другой год меняли нас местами. Иногда понижали до звеньевых, за какие-нибудь безобразия. Что там говорить. Когда перешли в пятый, к этому времени всех второгодников отправили в ремеслуху. В классе осталось двадцать семь человек. Не только ни единого отстающего – все лишь на отлично и хорошо. В классе – красное знамя школы, переходящее каждую четверть, а на учительском столе кожаный бювар – лучшему классу за успехи – итоги подводились каждую неделю. И так два года подряд. Вот какой класс был. Все пионеры, все «значкисты», кружковцы. БГСО, БГТО, Юный Ворошиловский стрелок, Юный моряк, Юный авиамоделист... Ни у кого меньше трех значков не было. Классная руководительница в почете. Галина Григорьевна Березницкая. Географ. Все проверяющие и гости – в наш класс, на все слеты во Дворец пионеров – из нашего класса. А мы особенно носа не драли,

поэтому не упомяну случая, чтобы нас, «бешников», кто-то обижал в школе или на улице. Даже наоборот, гордились нашими успехами. Слишком рано разрушился коллектив, все-таки еще дурачки-шестиклассники. А прожив вместе до десятого, может, и остались бы на всю жизнь друзьями? Сохранили связи... Общность... Не довелось. Лето сорок первого зачеркнуло.

Не подумайте, что учеба и чтение книг составляли главное содержание моей детской жизни. Не был ни тихоней-отличником, ни книжным червем, ни хилым интеллектуалом. Фига! С не меньшей страстью играл в казаки-разбойники, в двенадцать палочек, в штандар, лапту, футбол, часами сидел с удочкой в надежде вытащить из любой лужи малявку, днями шатался по лесу в поисках грибов, орехов, ягод, дрался, поглядывал на девчонок. Все было. Как говорится: «и ничто человеческое»... Единственное, чего не делал, это подлянки, как я ее понимаю до сих пор. Старался избегать. Плохо умел врать. Не умел вовремя смыться. И каяться не умел: надо – не надо, считал себя правым. А уж неправ – тут же готов повиниться. Такой характер. Но все это уже в более взрослом состоянии. Единожды в жизни оболгал товарища, и та детская вынужденная ложь до сих пор занозой сидит в сердце. Вынужден рассказать об этом, раз уж начал. Не оправдываться собираюсь, не каяться, тем более, что тот инцидент в свое время разъяснился, и мы с этим моим приятелем остались в хороших отношениях. Но что было, то было.

Из шуриного кошелька начали пропадать деньги, оставляемые ей для покупок. Сначала копейки, потом двугривенные, а вскоре рубли и даже тройки. Семь лет мне тогда было. Никаких особых запросов, требующих денежных вложений, я еще не имел: все, что нужно, у меня было. И на детский сеанс в «Метрополе», и на конфету «Мишка» или «Памир» – двадцать пять, тридцать копеек в неделю папа мне выделял. И вот, пропадают деньги. Первый подозреваемый – я. Весь день дома только мы с Шурой, да нет-нет заходит кто-нибудь ко мне – Володя, Котька, Ирка, Витька Рыжий. Мало ли зачем заходят, то спросить о чем-то, то книжку взять, то поиграть... Но я-то все время с ними, никуда они не лезут, нигде не шарят, тем более в отгороженном углу, где спит на сундуке Шура, висят ее наряды, стоит тумбочка. Что им там делать? Мои игрушки в больших картонных ящиках под диваном и кроватью, книги – на этажерке у окна, да и кто из них, да и сам я, знает, что у нее в кармане пальто кошелек с деньгами? Но деньги-то пропадают. «Ты взял?» – «Нет». – «Может, сама потеряла сдачу?» – это ее предположение. – «Не знаю». Раз, другой, третий. Раньше такого не бывало. А тут сразу тройка! Кто же, кроме тебя? – «Честное слово – не брал я ничего», – и в слезы. Сказала маме. Допрос. Скандал. Вечером серьезный разговор с отцом. Но мне не в чем признаваться. Через несколько дней опять пропажа. Ты! Ты! Ты! Что делать? Как докажешь – ведь когда Шура на кухне дома только я или сам, или со своими друзьями. Они?

Нет! В воскресенье с утра отец снова ведет следствие, логически доказывает мне, что кроме меня – некому. Признайся, не ври, ничего тебе не будет. Дошел я до края. Деваться некуда. Спасительная мысль: пусть я! – «Да, брал». – «Куда дел, что купил?» – А ничего я не покупал. Ни конфеты лишней, ни игрушки. – «Куда же девал деньги?» Три рубля. Капитал не маленький. – «Я их... я их отдал!» Одна лож ташит другую. – «Кому?» Откуда я могу знать – кому, если на самом-то деле не брал? Кому?... Аникею. Жил в нашем доме такой парнишечка, Аникей. Мама когда-то с его отцом вместе работала. Аникей старше меня на год. Заглядывал к нам редко. Мы не дружились. Аникей? Пошли к Аникею. И что самое ужасное, после долгих допросов и Аникей признался, что брал у меня деньги, что потратил их на кино и сладости. Признался! На время все успокоилось. И кражи прекратились. Аникей даже не поддал мне, только смотрел исподлобья, когда сталкивались в коридорах или во дворе. Недели через две настоящий преступник обнаружился. Ближайшая соседка и даже дальняя шурина родственница Лидка Капицына, дочь Марии Ивановны. Ходила она к нам без стука, как к себе. Между прочим, и я к Капицыным ходил запросто. Почти родные. Лидка «большая», лет на пять старше. В наших играх – учительница: усаживала, заставляла писать в тетрадках, отметки ставила. У нас в комнате – телефон, по тем временам редкость. Поставили папе, как ответработнику. Все соседи ходили звонить. А Лидка – без спросу. Осо-

бенно днем, когда только мы с Шурой дома. А уходим гулять – на всякий случай, после того моего путешествия из Зарядья, оставляем у Капицыных ключ. Они у нас – свои. В тот час меня дома не было, гулял во дворе. Шура откуда-то вернулась – дверь открыта, а в ее закутке – Лидка, и у нее в руках кошелечек. Всё. Папа передо мной извинялся, к Аникею ходил. Потом мороженым нас угощал. Все прошло, вроде бы забылось, но я с тех пор не вру. Ни по-крупному, ни по мелочи. Не могу. Виноват – сразу признаюсь. Считаю, что не виноват – на части режь! Это качество здорово мне в жизни мешало. У нас ведь любят, чтобы принародно раскаивался. «Виноват – исправлюсь», и, глядишь, все прощено. А тут упрется, как: баран, и ни в какую. Наказать! Наказывали. И поделом, и зазря. Так уж получалось. И вот кажется мне, что как в капле воды можно угадать свойство океана, так в этом мелком случае из моей, да и только ли моей детской жизни, видится та страшная лавина «признаний», приведшая нас к тридцать седьмому, к сорок девятому, ко всему сволочному, что сотворилось с нашим народом. Ну да ладно, будем надеяться, что это дело прошлое, хотя еще ой как много начальничков и общественников осталось, готовых довести человека до принятия на себя несуществующей вины. И в милиции до сего времени практикуется: не раскрыто дело – возьми, подследственный, на себя, все равно уж... А тебе за это кое-какие послабления. И берут. Такой элементарный фокус.

Ладно, хватит об этом. Вернемся в середину тридцатых,

возвратимся к моему детству, к его играм и друзьям.

Года три подряд самой главной нашей игрой были солдатики. Оловянные. Штука дорогая, не по карману. Каждое прибавление армий – праздник. Сэкономить на завтраках, не сходишь в киношку, не слопаешь законной воскресной конфеты с лотка у Третьяковского проезда – глядь, два пешотинца или один конник. А то кто-нибудь из гостей, бегая по московским магазинам, вспомнит младшего братца, притащит целый десяток, или отец расщедрится. Росли наши полки медленно. А тут фильмы «Александр Невский», «Суворов» – каре, батальоны, немецкая рыцарская «свинья» – разве сгромозишь из нашего воинства нечто подобное? А кроме того, «Конduit и Швамбрания» Кассиля... Государство свое, со всеми вытекающими... Выход был найден – пластилин, бумажки серебряные от конфет, спички. Лепили, украшали фольгой – иногда и золотая попадалась! – вооружали пиками. Из одной пачки сразу сотня. Да и пластилин куда дешевле солдатиков, а кроме того, родители охотнее дарили его: ребенок лепит, творческий процесс... Мы с Володей Соколовым образовали два дружественных королевства, с принцами, герцогами, гвардией, маршалами, интригами, дворцовыми переворотами и прочим романтическим антуражем. Позднее появились при дворах дамы. Заключались тайные союзы, скреплялись кровью договоры, запечатывались теми же пластмассовыми печатями с оттисками гербов с царских копеек. Изо дня в день шла дворцовая

жизнь, принимали послов, готовились к отражению вражеского нашествия, – создавались все новые и новые полки, их полковники и прочая и прочая. Враг – Котька Субашиев. Не очень мы его любили. Нагловатый, врун и на руку нечист. Воровал, бывало, наши войска целыми отрядами. Перерядит и выдает за свои. Что поделаешь. Надо же с кем-то воевать, заключать перемирия, даже составлять договоры о вечном мире, которые назавтра могли превратиться в пустые бумажки из-за коварства Кота. А какие династические свадьбы мы закатывали, какие балы и парады! Как бились наши верноподданные с псами-рыцарями или гвардейцами кардинала. В лепешку! (Даром, что ли, из пластилина).

К пятому-шестому классам наши государства начали выходить из мрака феодализма. Организовывались газеты, которыми мы постоянно обменивались, начинали выходить «литературные журналы» на четвертушках тетрадных листов, составлялись карты с обозначением городов, крепостей, столиц, гор, морей и рек. Возникла промышленность, выпускавшая разнообразные орудия, самолеты, гиперболоиды. Наступало время революций, свержение монархий. Шел постоянный обмен «зарубежной информацией» и разведанными, газеты разоблачали фашиствующего Котьку, ставшего уже не Субашиевым, а Орловым – по фамилии настоящего отца, который никогда с ними не жил.

На даче в Крюково, которую с большим трудом из списанных трамвайных шпал (напомню, что мама работала в Мо-

страмвайтресте) года три строили родители, мною была создана уже не воображаемая, а вполне реальная страна: из обрезков досок, кубиков, камней, песка, травы, веточек еловых. Пашни, леса, замки. Вырыты реки, каналы, морские заливы, создан флот из соснового корья: фрегаты, бригантины, барки, корветы и т. п. Человек собственноручно творил мир. Все-таки в игре самое главное – подготовка к ней. Не фантазии, а реальная работа – вожаденное изготовление реальных атрибутов – солдатиков, кораблей, знамен, фортов, издание газет, рисование карт, придумывание названий. Когда все готово к игре – она заканчивается. Становится неинтересно.

В последний предвоенный год армии уже пылились в картонных ящиках под диваном. Оловянных солдатиков своих числом 425 штук я променял на фотоаппарат «Кодак» с раздвижной гармошкой, видеоискателем и перевернутым изображением на матовом стекле. Кассеты, пластинки, проявитель-закрепитель, красная лампа – вот что стало занимать мысли, вот на что уходили теперь все мои мизерные денежные авуары. От прежней жизни остались только «газеты», но они уже потеряли строгую периодичность, выходили нерегулярно. И описывалась в них уже фиктивная, не существующая даже в модели жизнь. Мы выросли, и отражающее подлинную жизнь слово все больше привлекало нас. Любопытство, а может, настоящая любознательность толкали нас к «взрослым» книгам, уже не <к> приключениям, не к зани-

мательным фабулам. Ширился круг тем и сюжетов, все ближе открывающих нам человека. И, конечно, сопутствовали этому первые начатки любовных переживаний. Что-то тайное, разделяющее тебя и девчонок, с которыми прежде без всякого стеснения бегали со двора в один туалет. Кто-то заходил, кто-то дожидался очереди.

Ирка Мазина начинала наделяться чертами героинь читаемых книг: она и Эс-меральда, и Мадам Бонасье, и ветренная Манон Леско... Пухлогубая, сероглазая, над пышной светлой челкой – белый шелковый бант. Ее мать была полькой со звучной фамилией Гостимская. И в этом тоже было свое очарование. Тогда нам в руки впервые попали романы Генриха Сенкевича, увидели мы в фильме «Богдан Хмельницкий» пусть враждебную, злую, но такую прекрасную и гордую полячку. Записки с мольбами о свидании, тайно подsunутые в Иркин дневник или портфель, когда можно было запросто, даже без стука открыть двери их комнаты и сей же час увидеть предмет своих воздыханий, какие-то непонятные томления, печали, взрывы буйной радости, ревность к тому же Косте Орлову – оказалось вдруг, что она отдает ему предпочтение – он на класс младше, но в смысле всяких любовных игр на голову выше нас, сопляков. Володька-то пока совсем сосунок. Даже теоретически. А Кот... Ого! Его одинокая мама, не успевшая окончить гимназии дворяночка – сублинная, светленькая, тоненькая и, как я теперь понимаю – глубоко несчастная женщина, жила трудно. Их комната – длин-

ный, полутемный узкий пенал – один из дешевых номеров «Славянского базара» – служила пристанищем часто сменяемых «отцов». Так что Костя был докой по части «любви». И девочки на него клевали. Он и нас пытался обучить тому, в чем уже поднаторел сам. Володя как-то отошел в сторону, а я попал Коту в лапы. Тринадцать лет. Шестой класс. И не один Кот – учитель. Во дворе полно великовозрастных оболтусов. Неподалеку «Метрополь» с его вечерними девочками. Кое-кто водит кавалеров в наш садочек... Мы таимся по бойницам, регочем в самые ответственные моменты. Сексуальное воспитание, о котором только теперь начали говорить. А тогда – обнаженная женская фигура в какой-нибудь старой книге – и ты уже разглядываешь исподтишка запретный плод. И стыдно, и сладко. В школе – кафельные коридоры. Как-то раскатился, а из дверей класса в самый неподходящий момент вышла Иза Муравьева. С налету облапил ее – не мог остановить раскат, без всяких задних мыслей, – ощутил под ладонью небольшое твердое яблочко девичьей груди... и схлопотал по физиономии. На глазах у всего честного народа. Меня, старосту, девчонка ни за что ударила! Раньше бы такой сдачи дал. Позор. А тут сник. Замер. Молча уселся за свою парту. Наши мальчишки уже распускали руки, так что я получил пощечину вместо кого-то другого... Или вот: вернулся из школы, только перекусил – прибегают Кот. – Идем, что покажу! – Пошел к нему. На материнской двуспальной кровати полузнакомая деваха с нашей улицы. – Хочешь? У

меня, сдается, кровь из ушных мочек брызнула... Да ведь оказать себя трусом, младенцем никак нельзя. Никак. Да еще перед курносым плюгавым Котькой. С серьезным видом выдал, дескать, не в настроении что-то. Затеял общий серьезный разговор, уж не помню, на какую тему, посидел минут десять и смылся. И даже не корил себя. Уже впечаталось в душу: «Умри, но не дай поцелуя без любви». Оправдание? Или убеждение? Думаю – убеждение. Без этого – скотство. А Котьку стал после того случая презирать, хотя к весне Ирка таки-предпочла мне его, о чем заявила самолично. Страдал, но не терял человеческого достоинства. Найдем другую.

Так закончилась последняя весна моего детства. В июне началась война.

# Мое поколение

В классе был я самым младшим. Рядом ребята на год, а то и на два старше. Упоминавшиеся уже Лева-Боря, тоже старше. И сестры, и украинские «братья» Слава и Саша. Им уже по 13–17, но я в свои восемь-десять в их компании – на равных. Многие уже комсомольцы, за девочками захлестывают. Мне пока не до девочек (хотя считалось, что влюблен в Ирку Мазину), но про бои в Абиссинии, про челюскинцев, а позже об Испании, озере Хасан, Халхин-Голе все знаю, имею свои суждения, прогнозы, пристрастия. И где-то, не на первом плане, но постоянным фоном – «враги народа», процессы, имена развенчанных вождей и маршалов, их фотографии, заштриховываемые в только что выпущенном учебнике истории СССР... Пропажа портрета Плеханова, Вера Григорьевна Корецкая, живущая у нас после того, как ее мужа «взяли»; какие-то разговоры папы и мамы об исчезновении друзей, знакомых: тети-Баиноного мужа Иосифа – венгерского коммуниста, жившего с семьей в «Деловом дворе» на площади Ногина, майкиных родителей (Майка Кофман – дочь дальних родственников мамы, ее родители-коммунисты вернулись из Франции) – у всех этих людей мы бывали в гостях, они ходили к нам. Но это не главное, главное – фильмы «Чапаев», «Ленин в Октябре», «Если завтра война», «Карл Бруннер»... И, конечно, «Волга-Волга», «Трак-

тористы», несколько позже – «Профессор Мамлок», «Большой вальс»... Театры – ГосЦентТЮЗ, Третий Детский – игравший в нашем же доме, с актерами Гушанским и Сажиным, мамиными знакомыми – она и тетя Аня работали с нами еще в Камышине, в театре, после революции... «Голубое и розовое» по пьесе Бруштейн – тетки Фельки Алексеева, друга и одноклассника, «Двадцать лет спустя» – Светлова, «Проделки Скапена». Протыривались, проникали мы в театр часто, знали все входы и выходы, знали актеров и билетерш, играли «в театр». И, конечно, книги, книги, книги. Так что на равных рассуждал я о многих животрепещущих вопросах со своими старшими товарищами.

Уже в сороковом заезжали дяди-Володины: Лева – с финской, Слава – курсант Ленинградской Военно-морской медицинской академии. Бывал Мирркин жених – кончавший летное училище... И в домово́й компании перемены: пропал сосед дядя Адам, забрали отца Фальки Казачка – у него было по ромбу в петлицах, ушли служить Петька Живчиков – «астрахан» – его братишка учился пару лет в одном классе со мной, хулиган, второгодник и тоже «астрахашка»: у их отца – орден Красной Звезды. За Астрахань. Это мы узнали позже. Призвали Юрку Чуму, Валерия со второго этажа, Петуха – тоже Петьку, сына уборщицы тети Клавы, Витьку Шляпкина – эти ребята, вернее, парни, главенствовали в доме, во дворе нашем, да, пожалуй, и на улице. Юрка Чума – самый главный. Его слово – закон. Мне повезло. Одно время уха-

живал он за Мирркой, когда она только приехала из Херсона и жила у нас. Так что я был «неприкасаемым», обижать меня никто не смел. Сам Чума меня признавал! Валерий и Витька – между прочим, Витькин отец, с пышными горьковскими усами, работал в двадцатые годы вместе с мамой в каком-то статуправлении, и мы были «знакомы домами», – так вот, эти парни играли один на гитаре, другой на мандолине, и частенько где-нибудь в тихих закутках огромного нашего дома сбивалась компания, задавались концерты, пели «Марусю», «Кирпичики», «Мурку», еще какие-то блатные песни, но сдается, и что-то свое. Играют они, поют, а мы, мелюзга, кучкой на полу, у ног. Не отсюда ли, не с этих ли музицирований наши послевоенные барды и менестрели? Не только в арбатских переулках звучали самодельные песни... Ни Валерий, ни Витька с войны не пришли... Все, о чем сказал выше, дает мне право считать, что поколение, в котором числю себя – не ровесники, <a> старшие. Комсомольцы тридцатых. Опоздал я с ними погибнуть, но их идеалы, их вера – во мне. Сверстники и те, кто годом-двумя моложе, вступили в сорок первый детьми – я подростком. Даже первый муж моей старшей сестры Музы Борис – комсомолец двадцатых еще, инженер-горняк, – человек моего поколения. И двоюродный Борис, сын маминой старшей сестры тети Насти, боевой херсонский комсомольский вожак, красавец и спортсмен – представитель моего поколения. Вернее, я – его поколения. Дата рождения значит многое, но не всё. Коминтер-

новец, подпольщик, политзаключенный Александрас Гудайтис-Гузьявичюс – известный литовский писатель, с которым я близко познакомился в последние годы его жизни и книги которого мы с женой переводили, – тоже представитель того поколения, что считаю я своим, хотя был он старше меня лет на двадцать. Поколение – это общее мировоззрение, общий дух, общие беды, заботы и радости. Общие юношеские клятвы. Общий критерий всего окружающего. Вот почему, хотя получил я комсомольский билет только в ноябре 1942 года, считаю себя комсомольцем тридцатых годов, со всеми, как говорится, вытекающими отсюда последствиями: с гордостью и болью, с ошибками и преступлениями, свершениями и провалами, со стыдом и покаянием за содеянное.

В рыбаковских «Детях Арбата», в молодых героях Юрия Трифонова – вижу себя, пусть понимал куда меньше, знал куда хуже. Но чувствовал так же! Мы – дети революционеров, пережившие тридцать седьмой. Наивные, всему верившие, готовые и сегодня сражаться за свои идеалы не на жизнь, а на смерть. На этом стояли и стоим. С этим уходим. И потому 56-й – наш год. И 85-й – наш год. Поэтому – «Всегда готовы!»

Поэтому и тридцать седьмой, и осмысление его в последующие десятилетия, поэтому Сталин и отношение у нас к нему – свое, на особицу. Для нас – это наша трагедия, наш позор. Наши родители, пожалуй, знали всему цену, наши дети порой ни во что не желают верить. А мы? Мы свято верили

и свято ненавидим, осознав, что это было за время, что это была за фигура, растлившая, распявшая революцию, наплодившая тысячи и тысячи маленьких тупых тиранов и палачей, уничтожившая миллионы простых, честных и благородных людей. Ныне в нашей прессе полно статей, тем дням посвященных. Пишут о Ягоде и Ежове, Берии и Абакумове, Кагановиче и Ворошилове, о сотнях «чего изволите», исполнителях и карьеристах, рядовых мародерах и предателях, растлителях душ и мелких мерзавцах (правда, почему-то в основном о тех, с кого невозможен спрос...) Говорят и о главной фигуре, главном убийце, главном палаче. И находятся еще личности, требующие воздавать ему за заслуги, которых он не совершал. Индустрию, видите ли, создал, войну выиграл! Вранье! Вопреки ему разгромлен фашизм, вопреки его бездарному руководству строилась держава. И лишь благодаря ему на десятилетия отстали мы от передовых промышленных стран, лишь по его милости перебивается наш народ с хлеба на квас, земля не родит, труженики разучились трудиться, недобитые интеллигенты превратились в трусов и подхалимов, а многие люди в Иванов, не помнящих родства, в пьяниц и воров. Если что-то и сделано, создано, построено – то только вопреки сталинщине, ибо все-таки оставались силы в народе нашем, совершившем революцию и веровавшем в нее. Похабно называть палачом народов Гитлера и умалчивать, умалять вину людоеда Сталина. Мерзко поддерживать миф о его гениальности и величии. Власто-

любивый, мнительный, жестокий, хитрый негодяй и садист, на совести которого не только вымершие в начале тридцатых села, не только расстрелянные и замученные в тридцать седьмом – сороковом миллионы, не только старцы, дети и женщины, – калмыки, черкесы, крымские татары, немцы Поволжья, балкарцы, – но и полки, окруженные и плененные в сорок первом – сорок втором, дивизии и корпуса победителей, бросаемые в мясорубку войны – освобождать города в качестве подарков Вождю к определенной дате... Палач, лишивший наш народ десятков миллионов его самых честных, преданных сыновей, поднявший на поверхность подонков, создавший условия, в которых это дерьмо – безграмотное, карьерное, «лично преданное» – всплыло, захватило в свои загребущие лапы власть и шесть десятилетий отравляет воздух во всем мире. А что большее может творить дерьмо? Давно сгнил «отец народов», ушли в небытие его присные, а их последователи и последыши все еще смердят, и не только в нашей стране... Ничего не получится у нас с перестройкой, пока не разоблачим и не погоним прочь всю эту шушеру, до сих пор заправляющую нашей жизнью, клыками и когтями вцепившуюся в живое тело народа, сосущее его кровь. Полумерами, полуправдой развенчать «гениального отца» – не удастся. Его надо судить, судить по всем правилам: с прокурором и адвокатами, с допросом свидетелей, с преданием гласности всех документов его преступной деятельности, с приговором, который никто не посмел бы отме-

нить. Если твоя вина рассмотрена судом, квалифицирована, если она доказана – можно ответить тем тысячам адептов Сталина, что и по сию пору поднимают голос в его защиту: «Все, приговор вынесен и обжалованию не подлежит!» Выносить, выкапывать его прах из-под кремлевской стены не нужно. Только на могильной плите указать – «Здесь погребен человек, чьи преступления против человечности превышают всё, известное роду людскому. Здесь лежит палач народов, садист, обладавший неограниченной властью, здесь – Сталин. Помните об этом, люди, и будьте бдительны!» Текст может быть и другим, но смысл его в назидание потомкам должен быть таким. А вот могилы его присных и жертв: Орджоникидзе, Калинина, Кирова, Куйбышева, Мехлиса, всяких Ждановых, Сусловых и прочих, вплоть до Брежнева и Черненко, – убрать. Перенести, но чтобы на их могильных плитах эпитафии тоже соответствовали истине. Пусть вновь созданный «пантеон» превратится в кладбище скорби и позора. Зачем нашему народу в свои праздники ликовать возле этой свалки, где лежат не только мерзавцы, но и действительно великие люди, составляющие народную славу и гордость? Пусть лежат рядом, они тоже виновны: они допустили Сталина. Но веселиться рядом с покойниками? На кладбищах тихо. А тут гуляния устраивать? Позор! Азиатчина. Фараоны египетские. Неужели не понимают? И может, придет время, когда народное праздничное ликование обретет здесь свою суть – память об освобождении от тиранов и па-

лачей. А Мавзолей? Мавзолей... Все больше ощущаю противоречия и ущербные деяния Ленина. Непогрешимый? А может, поторопился Владимир Ильич взять власть? Больно уж не терпелось? Дать бы России фору в пару десятков лет, чтобы пораз-вивалась она, как буржуазная республика... А то ведь сыграли на не самых чистых помыслах народа, уставшего от войны, посулили рай земной, ввергли в ад гражданской, понасажали в каждой волости «волостителей», зачастую далеко не из самых светлых личностей... Да и широко-вещательно объявленные «свободы», почитай, тут же «временно» отняли... и с концом. Кивали на обстановку, объясняли насущной необходимостью момента, а потом забыли возвратить – и свободу печати, и свободу собраний, и добровольное служение в армии, и даже... землю, волю, человеческое достоинство... Ну, да будем считать, что не успел Ильич – война, разруха, безграмотность, голод, бегство и неприятие действий новой власти немногочисленной интеллектуальной прослойкой, отсутствие у народа – недавнего раба – демократических традиций. И всего-то какой-нибудь год без войны – ведь уже в начале двадцать третьего – инсульт, потеря речи, паралич... Трудно винить, хотя и можно. Но мавзолею тут не место. А вот его преемник пусть... Уверен, ни единому тирану, известному истории, не потребовалось столько жертв для утверждения своей власти. Ни в какое сравнение с ненасытностью Сталина не идут жестокости и бесчеловечность Нерона, Аттилы, Тимура, Ивана Грозного.

На их счету тысячи, пусть десятки тысяч замученных, распятых, затравленных дикими зверями, а тут – десятки миллионов! И не только инакомыслящих, инородцев, вчерашних врагов, не только врагов внутренних, покушавшихся на власть и жизнь тирана, – под подозрением вся стосемидесятимиллионная страна, целые народы, объявленные «врагами народа», вся Восточная Европа, которую мы освободили от фашизма и передали в руки кровавым прихвостням Сталина. Не будь такого деятеля, как, скажем, Матиас Ракоши, возникли бы «венгерские события»? А все политические процессы в Чехословакии при Готвальде? А польские сталинисты, хапавшие миллионы, посылавшие детишек учиться в Кембридж, строившие себе роскошные виллы на Балтике? Перерожденцы, враги собственных народов, не за страх, а за совесть служившие московскому диктатору и его последователям – все они опирались на него, на его наследие, на косную силу Советской армии и более того – на коварные, антинародные силы советского Комитета Госбезопасности. Я не верю и никогда не поверю, что все эти люди, связанные личными шкурными интересами, бескорыстно служили идеям коммунистического строительства. Все они опирались на рожденную еще в двадцатые годы сталинскую практику клеветы, нарушения законов, безнаказанности, а главное – на массовое оболванивание людей, запугивание их, на тотальный обман. Практику очень деятельную, запечатленную в тысячах лозунгов, обещаний счастливой и свободной

жизни не в раю, а на этом свете, вот только неизвестно, в какие сроки. Сколько поэм, славословий, писанных будто под копирку речей!.. И гибель миллионов. Законные же права тружеников, те лозунги социальной справедливости, за которые сражались они на баррикадах революционных катаклизмов XX века – подвергались анафеме, преследовались как инакомыслие, как буржуазные пятна на здоровом теле народа, как нечто куда более опасное, чем воровство, бандитизм, взяточничество. На очень многое смотрело социалистическое государство сквозь пальцы. Бюрократов, карьеристов, пьяниц, занимавших посты от самых маленьких, районного масштаба, до кресел в высших эшелонах власти, – журили, объявляли им выговоры, снижали в должности – и это лишь тех, кто попадался явно, преступления которых вопияли, тех же, у которых рыльце было в пушку, но сильная рука сверху – чаша сия обычно миновала. Так, дальний гром... А вот за анекдоты – сажали, гноили в лагерях, расстреливали. Да что там анекдоты – просто по разнарядке: взять и «разоблачить» такое-то количество за такой-то срок. А то, мол, плохо работаете, не проявляете бдительности... На протяжении всей нашей истории тысячи и тысячи публицистов и ораторов с ног сбивались, и по сие время брызжут слюной и чернилами в поисках «врага» – у одних это номенклатура, аппаратчики, у других – жидомасоны, у третьих – русские... Поймем ли, что общий враг у всех наших предков только один, вернее, два: партийная верхушка и генералитет – армейский

и Госбезопасности (высшие генералы старого и уже нового разлива, делавшие карьеру в годы застоя). Все эти бездельники, провокаторы, остервеневшие беззаконники. В их руках сила: оружие, демагогия, умение лгать и выдавать ложь за правду. Это они. Другого реального «образа врага» у нас нет. Пока не будет сломана, стерта, выброшена на помойку истории вся эта камарилья, пока карательный аппарат государства не развернет свое острие на сто восемьдесят градусов и не обратит его против того, что доньше еще стыдливо именуется «негативными проявлениями в жизни нашего общества», до той поры нам вряд ли удастся идти вперед. Так и будем топтаться на месте, будем повторять зады заложенной Сталиным государственности. То есть – бодряческой официальной лжи на всех уровнях, жестокости ко всякому проявлению несогласия с официальным мнением, пока не научимся уважать демократические права каждой отдельной личности. Без этого, без окончательного отказа от сталинистской идеологии и практики, их разрушения, полного и бесповоротного, вперед нам не двинуться.

Чувствую, что мои записки, моя исповедь, где собирался я сообщить читателю о пережитом, увиденном и передуманном, все больше превращается в злободневный дневник. Захлестывают меня сиюминутные эмоции. В то время, когда сел я за свод и перепечатку написанного и намечтанного в разные годы, совершаются гигантские подвижки в нашей социальной жизни. В частности, сегодня наше общество нахо-

дится в эйфории по поводу только что состоявшихся выборов «с выбором», на которых волеизъявление народное сумело забаллотировать (утопить в болоте!) ряд до сей поры неприкасаемых и уверенных в своей непогрешимости аппаратчиков самого высокого ранга. Лед тронулся? Ой, боюсь, извернутся, ой, боюсь – выкрутятся! Уже есть к этому намеки. Вот и вписываю в свои давние наброски – сегодняшнее. Ругаюсь, стараюсь выбрать слова позабористей, чтобы донести до читателя все свое негодование, всю боль, все неприятие нашего вчерашнего бытия. Однако, возьмем себя в руки и «вернемся к нашим баранам».

Тридцать седьмой. Мне девять лет. Газетные полосы полны отчетами о процессах над «врагами народа». Недавние вожди и герои, чьи изображения (пусть по принципу портретирования египетских фараонов – меньшего размера, нежели – самого генерального) еще красуются в недавно изданных книгах об Октябре, о гражданской войне, еще пахнут свежей типографской краской в новом учебнике истории СССР... Скоро замажем мы их чернилами, вымараем в тексте, выдерем из энциклопедий, сожжем газеты и журналы с их речами и статьями. И сами кинемся искать фашистские знаки на просвет в ткани своих пионерских галстуков, на зажимах этих галстуков, где над поленьями костра вздымаются три языка пламени – «большевики, комсомольцы и пионеры»... И еще не очень соображая, что происходит, ежедневно слышать – к высшей мере! К высшей мере! Как бе-

шенных собак! Кого-то из «врагов» – не к расстрелу, только к двадцати годам. Запомнилось имя Радека, которое впоследствии частенько будет упоминаться в анекдотах.

Мы, мальчишки с Никольской, своими глазами видели, как выводили и вводили под конвоем в двери Верховной коллегии военного суда, что была в конце нашей улицы, за аптекой Ферейна, напротив Лубянки (не так площади, как самого того мрачного кирпичного здания), как пихали в «черные вороны» бывших краскомов: в распоясанных гимнастерках, руки за спину, лица белые, неузнаваемые... Герои, любимцы народа, любимцы партии, легендарные, «верные ленинцы»... Друзья, соратники и помощники Ильича. Сегодня со многих, почитай, со всех, смыто клеймо врагов народа. Но ведь полвека эти творцы революции пролежали в безымянных могилах, были вычеркнуты из истории, прокляты, на их костях пиروвали и жировали всяческие псы – ежовской еще, бериевской выучки. Нет, не одному людоеду Сталину нужно было все это, чтобы утвердить абсолютную власть, чтобы убрать всех тех, кто мог знать или помнить о некоторых «грешках» его молодости. Тысячи рюминых и абакумовых делали на этих смертях свой бизнес, грели руки над кострами сталинской инквизиции.

Не могу удержаться и не рассказать здесь, в нарушение всех замыслов последовательного повествования о своей жизни, об одном потрясшем меня эпизоде.

Начало шестидесятых. Редакция журнала «Советская ли-

тература», где я тогда работал уже несколько лет, перебралась в новое помещение. В старом, на улице Кирова, в центре Москвы, у нас было несколько, пусть и больших, комнат, в кабинете главного сидел и он, и два зама, каждая языковая редакция тоже сидела в одной комнате, а Центральная – русская, готовившая тексты для переводов, – отделы художественной литературы, критики, публицистики, искусства, технической редактуры, секретариат и отдел проверки, – то есть столов пятнадцать – загнаны были в общий небольшой залец. Я, завредакцией, лицо административно-хозяйственное, обретался со своим столом в редакции польской. Короче говоря, сидели друг у друга на голове – ни принять авторов, ни поработать с переводчиком почти невозможно, гул, крик, звонки... Все помещение – бывший торговый зал, разгороженный стеклянными перегородками на клетушки. Правда, жили дружно и весело. Стоило какому-нибудь Арконде чихнуть у себя в испанской редакции, как со всех сторон неслись пожелания здоровья... А тут дали нам новое помещение, на окраине, на Бутырском хуторе, в недавно отстроенном здании общежития Литинститута. Целый этаж, двадцать пять комнат-кабинетов. Можно было вздохнуть. Оборудовали, перестроили, выгадали даже кухоньку и помещение, где сотрудники могли перекусить... Склад, кабинеты каждому заму, ответственному секретарю... В общем, стали жить «как белые люди» – и иностранного гостя принять не стыдно, и самим работать. Одно скверно – «далеко от Москвы»,

как острили в редакции. «Далеко от Москвы» назывался известный роман нашего тогдашнего главного редактора Василия Ажа-ева. Переезд наш совпал с расформированием партийной организации правления Союза писателей, вернее, с ее раздроблением и передачей ранее входивших в нее групп – партячек журналов – по территориальному признаку в соответствующие райкомы. Официально это объяснялось желанием «приблизить писателей к жизни народа». Глупость, конечно. Аппаратные игры. Разобщили людей, имеющих общие интересы. Боялись фронды? Кто их знает? Впрочем, как мне известно, это нелепое положение сохраняется до сих пор. Однако рассказ мой о другом: пока партийцы нашего журнала работали в общей для всех органов Союза писателей парторганизации, в одну из обязанностей сотрудников «Советской литературы» как членов КПСС, так и беспартийных, к числу коих принадлежал и я, входила во время избирательных кампаний агитация в группе домишек прошлого века, что стояли в конце улицы Герцена и выходили на площадь Восстания – рядом с Центральным домом литераторов и правлением СП СССР. Ну и воронья же слободка, скажу я вам! На фасаде выходившего на площадь домика – мемориальная доска, сообщавшая, что здесь в определенные годы жил великий русский композитор Петр Ильич Чайковский. Захламленный двор, покосившиеся черные лестницы, барские хоромы в бельэтаже в основном разгорожены на клетушки, а в служебных помещениях под чердаком, с косы-

ми протекающими потолками, душных летом, промозглых зимой, в полуподвальных каморках – десятки семей. Тут и старые москвичи, и «лимита», оказавшаяся в столице после войны, и представители деклассированных крестьян, бежавших сюда еще в начале тридцатых, спасаясь от голода, раскулачивания... Пьяницы, тихие и агрессивные алкоголики, забитые интеллигенты, знававшие другие времена, уборщицы, дворники, учителя, мелкий служивый люд... Все прогнило, заплесневело, водопроводные трубы текут – дом еще со времен Генерального плана середины тридцатых – за красной чертой, то есть ремонту не подлежит, давно назначен под снос. Жуть! Сам я в то времечко жил не в ахти каких апартаментах: теща, жена, дочь, няня, – в пятнадцатиметровой комнатухе, в надстройке, в коммунальной квартире. Но с газом, кухней, даже ванной, нашими усилиями в начале пятидесятых возрожденной к жизни. А тут? И попробуй обеспечить обязательное стопроцентное голосование при таком-то «контингенте»! Ох. Бегали по ЖЭКам, пробивались в райжилуправление, в райисполком, просили, требовали, чуть не плакали. Из всех этих организаций приезжали в дом «представители», обещали, сулили золотые горы, даже иногда меняли несколько особенно проржавевших труб или укладывали на крыше пару кусков жести. И все оставалось по-прежнему до следующей кампании. Если и голосовали наши избиратели, то жалея нас, агитаторов. Из личной симпатии, не желая делать нам лишние неприятности. Особенно доставалось

мне. По свойственной вашему покорному слуге общественной активности, назначали меня обычно «заместителем руководителя» агитколлектива. А я не умел требовать работы с других, все стремился сделать сам. Да и не на-погоняешь людей после работы с улицы Кирова на Пресню. У всех, в основном женщин, семьи, свои дела. Вот и отдувался. Всех избирателей в лицо знал, все их нужды, а порой и семейные дразги были мне известны.

И вот первые выборы на новом месте. Рядом с общежитием Литинститута – добротный трехэтажный жилой дом послевоенной постройки – пленные немцы возводили. В те годы появились в Москве десятки таких. Жилищной проблемы они не решали, но выглядели импозантно. Даже остановка троллейбуса называлась по дому – «Зеленый дом».

Зашел к избирателям. Чистые лестничные клетки, светло. Квартиры со всеми удобствами. Жильцы радушные, никаких претензий. Улыбчивые. Полы в прихожих наощенные, мебель добротная, во всем достаток – чай пить приглашают. Небо и земля. Собрал в редакции своих агитаторов – живем, говорю, быстренько уточните списки, да еще разок надо будет забежать – пригласительные открытки разнести. Плакаты я сам в доме повешу. Никакой мороки. Первое посещение было днем. Дети, домохозяйки. А второй раз заглянул после работы. Удивило наличие на вешалках в прихожих офицерских шинелей и фуражек с голубым околышем. Капитаны, майоры, подполковники. Но тоже доброжелательные, за-

веряющие, мол, не беспокойтесь, все как один явимся. До полудня проголосуем. И проголосовали. Но к этому времени я уже знал, кто здесь проживает. Служба охраны Бутырок. Надзиратели, канцеляристы, обслуга... Такие дела. Те самые. Вертухаи разных рангов. А на первый взгляд – люди как люди. Может, многие из них ничего предосудительного не творили, но ведь, как говорится: возле воды – да не замочиться?! Это к началу шестидесятых стали они respectable, а в пятидесятые, сороковые, когда и чинами были пониже, и чай пивали пожиже? Поверьте, трудно было мне, да и не только мне, отвечать на поклоны и улыбки жильцов этого дома. Соседи, на работу едешь, с работы – нет-нет и столкнешься. А чем виноваты их семьи, дети, внуки? Вот и думай. Вся эта армия пешек из правоохранительных органов, еще деятельная тогда, три десятка лет назад, ныне пенсионного возраста. Может, даже персональные получают. Верой и правдой служили. Назвать их поименно? Гной из нарыва лжи, злокачественная опухоль на обескровленном теле нашего народа, опора не только сталинщины, но и застойных лет, бюрократизма, кумовства, карьеризма, воровства, взяточничества... И не надо думать, что все это: горе, беды, трагедии и смерти миллионов – на совести лишь одного палача да десятка-другого его верных псов из высшего эшелона. Страшная, не имеющая решения проблема. Дети за отцов не отвечают? Отвечали! Справедливо ли это? Нет! Неужто мы ту несправедливость повторим? Простим, забудем, отпу-

стим грехи? Ведь сладко ели и тепло спали, ведь учились играть на скрипках и фортепьянах в те времена, когда голодные зеки безвинно мерли, холодали и голодали под неусыпными глазами их сытых папаш. Ладно, простим. Но уж папаш все-таки следовало бы поприжать. Снизить им хотя бы пенсии до уровня, который полагается обыкновенным трудягам, отбарабанившим на стройках, заводах, а не в «правоохранительных канцеляриях» три-четыре десятка лет. Хоть таким способом восстановить справедливость. Пусть доживают, но пусть и помнят, что народ отпустил им страшный грех. А ведь не секрет, что именно из этой когорты до сего времени рекрутируются граждане, готовые вставать при появлении на экране облика любимого вождя, подонки, откровенно выступающие в защиту его, все еще со знаком плюс воспринимающие его деяния. Этого прощать нельзя! Безнаказанно считать гением и спасителем палача, параноика, садиста, губителя революции – никому в нашем обществе не позволено. Так же, как растлевать детей, восхвалять жестокость и бесчеловечность, натравливать друг на друга людей разных национальностей. Общество «Память» – где черпает оно своих адептов и последователей? Не среди тех ли, кому слишком хорошо жилось под рукою Сталина, Брежнева, кому нынешнее время недодает незаслуженных наград, кого перестают двигать вперед лишь за заслуги родителей или по анкетным данным? А вкус к этому воспитан, заложен в гены. Вот и ищут врагов-инородцев, жидомасонов, кого хочешь.

Убிரайтесь, дайте нам кусок пожирнее, а что касается идей, жизни народа русского и всех остальных, населяющих наш Союз, то нам на это начхать! Привилегий своих не отдадим. Не по уму, труду, способностям – потому лишь, что мы – русские. Какой позор!..

Существует такое понятие: «Российский интеллигент». Уникальнейшее явление последнего столетия. Это мог быть не только русский – великие грузины, украинцы, белорусы. Тот же Чохан Валиханов, Абай, Шолом Алейхем – разных народов дети, но объединяемые бесконечной преданностью своему служению, готовых за свои идеи в огонь и в воду, интернационалисты и одновременно ярчайшие представители сути своего народа. Революционеры, земские врачи, народные учителя, мореплаватели, изобретатели, военные и штатские, мужчины и женщины. Честнейшие, бескорыстные. Гении и таланты, а то и просто порядочные люди. Тысячи и тысячи. Где они, соль земли нашей? Вырубил, вытоптал, уничтожил их двадцатый век под мудрым руководством отца и учителя. Как же – осмеливались самостоятельно мыслить, «свои суждения иметь», возражать, брать на себя ответственность! Бей их! Любым способом. Такие – вне закона. И не важно, каково соц-происхождение – крестьянский ли, дворянский отпрыск, на заводе ли работягой вкалывал или книги писал. Бей! Это отношение к интеллигенту очень наглядно нынче в высказываниях «памятников» – кто ты ни будь, но ежели не туп, ежели не согласен с дремучими

их мыслями, – значит, жидомасон.

Великое завоевание Октября (как принято говорить) – стали мы страной сплошной грамотности: учителя, врачи, чиновники, журналисты, торговцы, офицеры, проститутки, наркоманы, музыканты, рокеры, артисты, официанты, повара, – все умеем расписаться, все умеем прочесть написанное на заборе, тиснутое в газетке. Догнали в этом и перегнали Европу. В космос первыми вырвались! А интеллигенты российские куда подевались? Гражданская война да голод ополовинили, тех, кто больше на виду, – в двадцатые годы прочь по-высылали (к счастью, не догадались еще, что проще расстреливать). А потом пошел катком по их светлым головам недоучившийся семинарист: Соловки, тридцать седьмой. Остаточки подобрал сорок первый, когда эти профессора да беспартийные идеалисты, необученные, неприспособленные – в рядах ополчения грудью своей пытались преградить дорогу фашистским танкам, первыми поднимались в атаку, первыми считали, что плен – позор, что лучше «умереть стоя, чем жить на коленях»... Уходят последние могики. Реликты. Святые. Кого в ко смополитизме обвиняли, кого топили в грязи, как Ахматову или Зощенко, кого, уже помоложе – наследников, – вновь сослали или выгоняли из страны, как того же Солженицына, Сахарова. Где уж тут сохраниться популяции?! И чтобы вновь возродилось в России это гордое и чистое племя, необходимо открыть перед каждым юным сердцем их образы. Чтобы знали, «с кого де-

лать жизнь». В нынешней – остались единицы. Лихачев, Каверин... Кого рядом поставим? Кто прорастет на вырубке? Чьи зеленые кроны прикроют прозрачной тенью израненную нашу землю в XXI веке? Ах, друг Аркадий!..

Впрочем, предыдущие страницы писались давно, а вот недавно шли сессии нового Верховного Совета... Господи! Есть еще порох в пороховницах. Есть честные, мудрые, молодые и бесстрашные. Дай им бог – во славу, честь и благо наших измордованных народов жить и трудиться. Если не они, то кто же?!

Что осталось в памяти моей, десяти-тринадцатилетнего мальчишки, о тридцать седьмом? Как ожили воспоминания о них в сорок девятом, как открывались у нас глаза в пятьдесят третьем – пятьдесят шестом? Вот об этом сейчас и поведу речь. Без ругани и выпретенных слов.

Семью мою бог миловал. А могло бы... Отец, руководитель среднего ранга, не партийный – хозяйственный, еще в тридцать пятом переругался со своим непосредственным руководством. Был он тогда начальником строительства большого дачного поселка в Валентиновке под Москвой. Возводился городок для отдохновения высшего эшелона ВЦСПС. Дома-дачи с холлами, мраморными каминами, теплыми нужниками, ванными. Из завезенных материалов отец приказал прежде всего построить два двухэтажных дома-барака, с отдельными комнатами, общими кухнями, сараями для дров и свиней возле жилища. Поселил там плот-

ников, кровельщиков, печников. Рабочая сила ютилась по частным избам окрестных деревенок. Дневал и ночевал на стройке, совсем почти не бывал в Москве. А секретарские дачи к летнему сезону готовы не были. Вот и начался скандал. Каких только собак на отца не вешали. Дошло и до политических обвинений. Дескать, и партбилет у него фальшивый, и сам он кулацкий сын. С треском уволили. Года два спустя итог был бы иной. А тут отец подал на руководство в суд. Удалось доказать, что он «не верблуж Выиграл дело. Оплатили ему деньги и за вынужденный прогул, и за неиспользованный отпуск, восстановили на прежней должности. Признали правильной его первоочередную заботу о тружениках. Помог, конечно, фельетон «Дело завкома», появившийся на страницах «Известий». Писал его Евгений Кригер. Фельетон этот долгие годы хранился у меня, многожды с гордостью перечитывался и сгорел вместе с крюковской дачей в семьдесят шестом. . . Оттуда-то, из этого фельетона, знаю я о деде, дом которого в 1914 году сожгли черносотенцы, а его, уже на восьмом десятке, за революционную деятельность выслали по этапу в Архангельскую губернию. Оттуда знаю про тюрьмы, где сидел отец в пятом и двенадцатом годах. Правда, были дома еще и фотографии – отец и дядя Шмера сидят на подоконнике, а окно зарешечено, или: большая группа политических – в центре отец, тюремный староста. Это – после выигранной ими десятидневной голодовки, объявленной в знак протеста против незаконных действий тюрем-

ной администрации. В фельетоне же повествовалось о «кулацком сыне» – организаторе первых большевистских ячеек на Херсонщине, руководителе съезда губернских сельских учителей, продкомиссаре Юга Украины, основателе первой на украинской земле сельскохозяйственной коммуны «Новожиття»... И посыпались нам письма. От соратников отца, от его учеников, ставших в это время, к середине тридцатых, и секретарями райкомов, и военками, и учителями, и врачами... Звали к себе, предлагали важные должности, негодовали. Но теперь отец сам уволился и уехал работать учителем в школу взрослых подмосковной Второй Люберецкой трудкоммуны имени Дзержинского. Директором той школы был старый его товарищ и дальняя родня Николай Семенович Попков. Для тех, кому это неизвестно, могу пояснить: жили и учились в трудкоммуне «трудные подростки» – юные воры, проститутки, бандиты. Это о них фильм «Путевка в жизнь», это они сами строили железную дорогу от Люберец до Николо-Угрешского монастыря, где жила их коммуна. Это они создали завод № 1 НКХП, там в годы войны работало десять тысяч человек и выпускали они ручные гранаты и дымовые шашки. Довелось и мне в 1944, по возвращении из эвакуации, несколько месяцев работать здесь, «начинать свою трудовую биографию». Отсюда моя первая трудовая книжка. Дурнем я был, когда, уже актером, после окончания театрального училища, определялся в театр: не сдал ее, завел вторую. В первой, по тогдашним моим представле-

ниям, был вписан некий «унизительный для моей гордости» приказ с объявлением мне благодарности и «награждении за внеурочную работу по отгрузке фронтальной продукции... орденом на нижнее белье». Казалось, смеяться начнут – наградили «героя» кальсонами. Все-таки – театр...

Итак, отец уехал в трудкоммуну, получил там комнатку в широко распространенных у нас в ту пору жилищах – домах каркасно-засыпного типа, в просторечии – бараках, и начал преподавать математику бывшим уркам. Что им двигало? Любовь к учительству? Или предчувствие – в следующий раз так легко не отделаться? От его валентиновской эпопеи сохранился великолепный кожаный портфель с серебряной гравированной дощечкой: «Дорогому Павлу Архиповичу Герасимову от рабочих и ИТР строительства дачного поселка ВЦСПС за честный труд и сталинское отношение к людям». Это опальному-то, увольняющемуся начальнику! Вручили памятный дар, когда приехал он брать расчет. «Сталинское отношение к людям» – тогда, как вы понимаете, было высшим признанием человеческих качеств руководителя... Портфель я истаскал в послевоенные годы (одна из немногих доставшихся мне в наследство вещей отца), а потемневшая серебряная табличка с гравировкой сохранилась.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.